ПО ЭТУ СТОРОНУ РАЯ

ФРЭНСИС СКОТТ
ФИЦДЖЕРАЛЬД

Френсис Фицджеральд

По эту сторону рая

«АСТ»

1920

Фицджеральд Ф. С.

По эту сторону рая / Ф. С. Фицджеральд — «АСТ», 1920

ISBN 978-5-17-080996-7

Первый, носящий автобиографические черты роман великого Фицджеральда. Книга, ставшая манифестом для американской молодежи «джазовой эры».У этих юношей и девушек не осталось идеалов, они доверяют только самим себе. Они жадно хотят развлекаться, наслаждаться жизнью, хрупкость которой уже успели осознать.На первый взгляд героев Фицджеральда можно счесть пустыми и легкомысленными. Но в сущности судьба этих «бунтарей без причины», ищущих новых представлений о дружбе и отвергающих мещанство и ханжество «отцов», глубоко трагична. Их бунт обречен – и только сами они пока еще об этом не догадываются…

ISBN 978-5-17-080996-7

© Фицджеральд Ф. С., 1920
© АСТ, 1920

Содержание

Книга первая 6
Глава I 6
Эпизод с поцелуем 8
Моментальные снимки юного эгоиста 13
Кодекс юного эгоиста 14
Накануне великих перемен 15
Эгоисту плохо 19
Эпизод с доброжелательным преподавателем 20
Эпизод с чу́дной девушкой 20
Эпизод в героических тонах 22
Философия прилизы 22
Глава II 25
Влажная символическая интерлюдия 34
Немножко истории 35
«Ого-Гортензия!» 35
Новое в жизни Америки 37
Описательная 38
Изабелла 38
Младенцы в лесу 41
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Фрэнсис Скотт Фицджеральд
По эту сторону рая

…По эту сторону рая
Мудрость – опора плохая.
Руперт Брук

Опытом люди называют свои ошибки.
Оскар Уайльд

© Перевод. М. Лорие, наследники, 2013
© ООО «Издательство АСТ», 2014

Книга первая
Романтический эгоист

Глава I
Эмори, сын Беатрисы

Эмори Блейн унаследовал от матери все, кроме тех нескольких трудно определимых черточек, благодаря которым он вообще чего-нибудь стоил. Его отец, человек бесхарактерный и безликий, с пристрастием к Байрону и с привычкой дремать над «Британской энциклопедией», разбогател в тридцать лет после смерти двух старших братьев, преуспевающих чикагских биржевиков, и, воодушевленный открытием, что к его услугам весь мир, поехал в Бар-Харбор, где познакомился с Беатрисой О'Хара. В результате Стивен Блейн получил возможность передать потомству свой рост – чуть пониже шести футов – и свою неспособность быстро принимать решения, каковые особенности и проявились в его сыне Эмори. Долгие годы он маячил где-то на заднем плане семейной жизни, безвольный человек с лицом, наполовину скрытым прямыми шелковистыми волосами, вечно поглощенный «заботами» о жене, вечно снедаемый сознанием, что он ее не понимает и не в силах понять.

Зато Беатриса Блейн, вот это была женщина! Ее давнишние снимки – в отцовском поместье в Лейк-Джинева, штат Висконсин, или в Риме, у монастыря Святого Сердца, – роскошная деталь воспитания, доступного в то время только дочерям очень богатых родителей, – запечатлели восхитительную тонкость ее черт, законченную изысканность и простоту ее туалетов. Да, это было блестящее воспитание, она провела юные годы в лучах Ренессанса, приобщилась к последним сплетням о всех старинных римских семействах, ее, как баснословно богатую юную американку, знали по имени кардинал Витори и королева Маргарита, не говоря уже о менее явных знаменитостях, о которых и услышать-то можно было, только обладая определенной культурой. В Англии она научилась предпочитать вину виски с содовой, а за зиму, проведенную в Вене, ее светская болтовня стала и разнообразнее, и смелее. Словом, Беатрисе О'Хара досталось в удел воспитание, о каком в наши дни нельзя и помыслить; образование, измеряемое количеством людей и явлений, на которые следует взирать свысока или же с благоговением; культура, вмещающая все искусства и традиции, но ни единой идеи. Это было в самом конце той эпохи, когда великий садовник срезал с куста все мелкие неудавшиеся розы, чтобы вывести один безупречный цветок.

В каком-то промежутке между двумя захватывающими сезонами она вернулась в Америку, познакомилась со Стивеном Блейном и вышла за него замуж – просто потому, что немножко устала, немножко загрустила. Своего единственного ребенка она носила томительно скучную осень и зиму и произвела на свет весенним днем 1896 года.

В пять лет Эмори уже был для нее прелестным собеседником и товарищем. У него были каштановые волосы, большие красивые глаза, до которых ему предстояло дорасти, живой ум, воображение и вкус к нарядам. С трех до девяти лет он объездил с матерью всю страну в личном салон-вагоне ее отца – от Коронадо, где мать так скучала, что с ней случился нервный припадок в роскошном отеле, до Мехико-Сити, где она заразилась легкой формой чахотки. Это недомогание пришлось ей по вкусу, и впоследствии она, особенно после нескольких рюмок, любила пользоваться им как элементом атмосферы, которой себя окружала.

Таким образом, в то время как не столь удачливые богатые мальчики воевали с гувернантками на взморье в Ньюпорте, в то время как их шлепали и журили и читали им вслух «Дерзай и сделай» и «Фрэнка на Миссисипи», Эмори кусал безропотных малолетних рассыль-

ных в отеле «Уолдорф», преодолевал врожденное отвращение к камерной и симфонической музыке и подвергался в высшей степени выборочному воспитанию матери.

– Эмори!

– Что, Беатриса? (Она сама захотела, чтобы он так странно ее называл.)

– Ты и не думай еще вставать, милый. Я всегда считала, что рано вставать вредно для нервов. Клотильда уже распорядилась, чтобы завтрак принесли тебе в номер.

– Ладно.

– Я сегодня чувствую себя очень старой, Эмори, – вздыхала она, и лицо ее застывало в страдании, подобно прекрасной камее, голос искусно замирал и повышался, а руки взлетали выразительно, как у Сары Бернар. – Нервы у меня вконец издерганы. Завтра мы уедем из этого ужасного города, поищем где-нибудь солнца.

Сквозь спутанные волосы Эмори поглядывал на мать своими проницательными зелеными глазами. Он уже тогда не обольщался на ее счет.

– Эмори!

– Ну что?

– Тебе необходимо принять горячую ванну – как можно горячее, как сможешь терпеть, и дать отдых нервам. Если хочешь, можешь взять в ванну книжку.

Ему еще не было десяти, когда она пичкала его фрагментами из «Fêtes galantes»[1] Дебюсси; в одиннадцать лет он бойко, хотя и с чужих слов, рассуждал о Брамсе, Моцарте и Бетховене. Как-то раз, когда его оставили одного в отеле, он отведал абрикосового ликера, которым поддерживала себя мать, и, найдя его вкусным, быстро опьянел. Сначала было весело, но на радостях он попробовал и закурить, что вызвало вульгарную, самую плебейскую реакцию. Этот случай привел Беатрису в ужас, однако же втайне и позабавил ее, и она, как выразилось бы следующее поколение, включила его в свой репертуар.

– Этот мой сынишка, – сообщила она однажды при нем целому сборищу женщин, внимавших ей со страхом и восхищением, – абсолютно все понимает и вообще очарователен, но вот здоровье у него слабое… У нас ведь у всех слабое здоровье. – Ее рука сверкнула белизной на фоне красивой груди, а потом, понизив голос до шепота, она рассказала про ликер. Гостьи смеялись, потому что рассказывала она отлично, но несколько буфетов было в тот вечер заперто на ключ от возможных поползновений маленьких Бобби и Бетти…

Семейные паломничества неизменно совершались с помпой: две горничные, салон-вагон (или мистер Блейн, когда он оказывался под рукой) и очень часто – врач. Когда Эмори болел коклюшем, четыре специалиста, рассевшись вокруг его кроватки, бросали друг на друга злобные взгляды; когда он подхватил скарлатину, число услужающих, включая врачей и сиделок, достигло четырнадцати. Но несмотря на это, он все же выздоровел.

Имя Блейн не было связано ни с одним из больших городов. Они были известны как Блейны из Лейк-Джинева; взамен друзей им вполне хватало многочисленной родни, и они пользовались весом везде – от Пасадены до мыса Код. Но Беатриса все больше и больше тяготела к новым знакомствам, потому что некоторые свои рассказы, как, например, о постепенной эволюции своего организма или о жизни за границей, ей через определенные промежутки времени требовалось повторять. Согласно Фрейду, от этих тем, как от навязчивых снов, нужно было избавляться, чтобы не дать им завладеть ею и подточить ее нервы. Но к американкам, особенно к кочевому племени уроженок Запада, она относилась критически.

– Их невозможно слушать, милый, – объясняла она сыну. – Они говорят не как на Юге и не как в Бостоне, их говор ни с какой местностью не связан, просто какой-то акцент… – Начиналась игра фантазии. – Они откапывают какой-нибудь обветшалый лондонский акцент, давно оставшийся не у дел, – надо же кому-то его приютить. Говорят, как английский дворец-

[1] «Галантные праздники» (*фр.*).

кий, который несколько лет прослужил в оперной труппе в Чикаго. – Дальше шло уже почти непонятное. – Наверно… период в жизни каждой женщины с Запада… чувствует, что ее муж достаточно богат, чтобы ей уже можно было обзавестись акцентом… они пытаются пустить мне пыль в глаза, *мне*…

Собственное тело представлялось ей клубком всевозможных болезней, однако свою душу она тоже считала больной, а значит, очень важной частью себя. Когда-то она была католичкой, но, обнаружив, что священники слушают ее гораздо внимательнее, когда она готова либо вот-вот извериться в матери-церкви, либо вновь обрести веру в нее, – удерживалась на неотразимо шаткой позиции. Порой она сетовала на буржуазность католического духовенства в Америке и утверждала, что, доведись ей жить под сенью старинных европейских соборов, ее душа по-прежнему горела бы тонким язычком пламени на могущественном престоле Рима. В общем, священники были, после врачей, ее любимой забавой.

– Ах, епископ Уинстон, – заявляла она, – я вовсе не хочу говорить о себе. Воображаю, сколько истеричек толпится с просьбами у вашего порога, зная, какой вы симпатико… – Потом, после паузы, заполненной репликой священника: – Но у меня, как ни странно, совсем иные заботы.

Только тем священнослужителям, что носили сан не ниже епископского, она поверяла историю своего клерикального романа. Давным-давно, только что вернувшись на родину, она встретила в Ашвилле молодого человека суинберновско-языческого толка, чьи страстные поцелуи и недвусмысленные речи не оставили ее равнодушной. Они обсудили все за и против как интеллигентные влюбленные, без тени сентиментальности, и в конце концов она решила выйти замуж в соответствии со своим общественным положением, а он пережил духовный кризис, принял католичество и теперь звался монсеньор Дарси.

– А знаете, миссис Блейн, он ведь и сейчас еще интереснейший человек, можно сказать – правая рука кардинала.

– Когда-нибудь, я уверена, Эмори обратится к нему за советом, – лепетала красавица, – и монсеньор Дарси поймет его, как понимал меня.

К тринадцати годам Эмори сильно вытянулся и стал еще больше похож на свою мать – ирландку. Время от времени он занимался с учителями, – считалось, что в каждом новом городе он должен «продолжать с того места, где остановился». Но поскольку ни одному учителю не удалось выяснить, где именно он остановился, голова его еще не была сверх меры забита знаниями. Трудно сказать, что бы из него получилось, если бы такая жизнь тянулась еще несколько лет. Но через четыре часа после того, как они с матерью отплыли в Италию, у него обнаружился запущенный аппендицит – скорее всего, от частых завтраков и обедов в постели, – и в результате отчаянных телеграмм в Европу и в Америку, к великому изумлению пассажиров, огромный пароход повернул обратно к Нью-Йорку, и Эмори был высажен на мол. Согласитесь, что это было великолепно, если и не слишком разумно.

После операции у Беатрисы был нервный срыв, подозрительно смахивающий на белую горячку, и Эмори на два года оставили в Миннеаполисе у дяди с теткой. И там его застигла, можно сказать, врасплох грубая, вульгарная цивилизация американского Запада.

Эпизод с поцелуем

Он читал, презрительно кривя губы:

> Мы устраиваем катанье на санях в четверг семнадцатого декабря. Надеюсь, что и Вы сможете поехать. Приходите к пяти часам.
>
> Преданная вам
>
> *Майра Сен-Клер.*

Он прожил в Миннеаполисе два месяца и все это время заботился главным образом о том, чтобы другие мальчики в школе не заметили, насколько выше их он себя считает. Однако убеждение это зиждилось на песке. Однажды он отличился на уроке французского (французским он занимался в старшем классе), к великому конфузу мистера Ридона, над чьим произношением он высокомерно издевался, и к восторгу всего класса. Мистер Ридон, который десять лет назад провел несколько недель в Париже, стал в отместку на каждом уроке гонять его по неправильным глаголам. Но в другой раз Эмори решил отличиться на уроке истории, и тут последствия были самые плачевные, потому что его окружали сверстники и они потом целую неделю громко перекрикивались, утрируя его столичные замашки: «На мой взгляд… э-э-э… в американской революции были заинтересованы главным образом средние классы…» или: «Вашингтон происходил из хорошей семьи, да, насколько мне известно, из очень хорошей семьи…».

Чтобы спастись от насмешек, Эмори даже пробовал нарочно ошибаться и путать. Два года назад он как раз начал читать одну книгу по истории Соединенных Штатов, которую, хоть она и доходила только до Войны за независимость, его мать объявила прелестной.

Хуже всего дело у него обстояло со спортом, но, убедившись, что именно спортивные успехи обеспечивают мальчику влияние и популярность в школе, он тут же стал тренироваться с яростным упорством – изо дня в день, хотя лодыжки у него болели и подвертывались, совершал на катке круг за кругом, стараясь хотя бы научиться держать хоккейную клюшку так, чтобы она не цеплялась все время за коньки.

Приглашение мисс Майры Сен-Клер пролежало все утро у него в кармане, где пришло в тесное соприкосновение с пыльным остатком липкой ореховой конфеты. Во второй половине дня он извлек его на свет божий, обдумал и, набросав предварительно черновик на обложке «Первого года обучения латинскому языку» Коллара и Дэниела, написал ответ:

> Дорогая мисс Сен-Клер!
>
> Ваше прелестное приглашение на вечер в будущий четверг доставило мне сегодня утром большую радость. Буду счастлив увидеться с Вами в четверг вечером.
>
> Преданный Вам
>
> *Эмори Блейн.*

И вот в четверг он задумчиво прошагал к дому Майры по скользким после скребков тротуарам и подошел к подъезду в половине шестого, решив, что именно такое опоздание одобрила бы его мать. Позвонив, он ждал на пороге, томно полузакрыв глаза и мысленно репетируя свое появление. Он без спешки пройдет через всю комнату к миссис Сен-Клер и произнесет с безошибочно правильной интонацией: «Дорогая миссис Сен-Клер, простите, ради бога, за опоздание, но моя горничная… – он осекся, сообразив, что это было бы плагиатом, – но мой дядя непременно хотел представить меня одному человеку… Да, с вашей прелестной дочерью мы познакомились в танцклассе».

Потом он пожмет всем руку, слегка, на иностранный манер поклонится разряженным девочкам и небрежно кивнет ребятам, которые будут стоять, сбившись тесными кучками, чтобы не дать друг друга в обиду.

Дверь отворил дворецкий (один из трех во всем Миннеаполисе). Эмори вошел и снял пальто и шапку. Его немного удивило, что из соседней комнаты не слышно хора визгливых голосов, но он тут же решил, что прием сегодня торжественный, официальный. Это ему понравилось, как понравился и дворецкий.

– Мисс Майра, – сказал он.

К его изумлению, дворецкий нахально ухмыльнулся.

– Да, она-то дома, – выпалил он, неудачно подражая говору английского простолюдина.

Эмори окинул его холодным взглядом.

– Только, кроме нее-то, никого дома нет. – Голос его без всякой надобности зазвучал громче. – Все уехали.

Эмори даже ахнул от ужаса.

– Как?!

– Она осталась ждать Эмори Блейна. Скорей всего, это вы и есть? Мать сказала, если вы заявитесь до половины шестого, чтобы вам двоим догонять их в «паккарде».

Отчаяние Эмори росло, но тут появилась и Майра, закутанная в меховую накидку, – лицо у нее было недовольное, вежливый тон давался ей явно с усилием.

– Привет, Эмори.

– Привет, Майра. – Он дал ей понять, что угнетен до крайности.

– Все-таки добрался наконец.

– Я сейчас тебе объясню. Ты, наверно, не слышала про автомобильную катастрофу.

Майра широко раскрыла глаза.

– А кто ехал?

– Дядя, тетя и я, – бухнул он с горя.

– И кто-нибудь убит?

Он помедлил и кивнул головой.

– Твой дядя?

– Нет, нет, только лошадь… такая, серая.

Тут мужлан-дворецкий поперхнулся от смеха.

– Небось лошадь убила мотор, – подсказал он.

Эмори не задумываясь послал бы его на плаху.

– Ну, мы уезжаем, – сказала Майра спокойно. – Понимаешь, Эмори, сани были заказаны на пять часов, и все уже собрались, так что ждать было нельзя…

– Но я же не виноват…

– Ну, и мама велела мне подождать до половины шестого. Мы догоним их еще по дороге к клубу Миннегага.

Последние остатки притворства слетели с Эмори. Он представил себе, как сани, звеня бубенцами, мчатся по заснеженным улицам, как появляется лимузин, как они с Майрой выходят из него под укоряющими взглядами шестидесяти глаз, как он приносит извинения… на этот раз не выдуманные. Он громко вздохнул.

– Ты что? – спросила Майра.

– Да нет, я просто зевнул. А мы наверняка догоним их еще по дороге?

У него зародилась слабая надежда, что они проскользнут в клуб Миннегага первыми и там встретят остальных, как будто уже давно устали ждать, сидя у камина, и тогда престиж его будет восстановлен.

– Ну конечно, конечно догоним. Только не копайся.

У него засосало под ложечкой. Садясь в автомобиль, он наскоро подмешал дипломатии в только что зародившийся сокрушительный план. План был основан на чьем-то отзыве, кем-то переданном ему в танцклассе, что он «здорово красивый и что-то в нем есть английское».

– Майра, – сказал он, понизив голос и тщательно выбирая слова. – Прости меня, умоляю. Ты можешь меня простить?

Она серьезно поглядела на него, увидела беспокойные зеленые глаза и губы, казавшиеся ей, тринадцатилетней читательнице модных журналов, верхом романтики. Да, Майра с легкостью могла его простить.

– Н-ну… В общем, да.

Он снова взглянул на нее и опустил глаза. Своим ресницам он тоже знал цену.

– Я ужасный человек, – сказал он печально. – Не такой, как все. Сам не знаю, почему я совершаю столько оплошностей. Наверно, потому, что мне все – все равно. – Потом беспечно: – Слишком много курю последнее время. Отразилось на сердце.

Майра представила себе ночную оргию с курением и Эмори, бледного, шатающегося, с отравленными никотином легкими. Она негромко вскрикнула:

– Ой, Эмори, не надо курить, ну пожалуйста. Ты же перестанешь расти.

– А мне все равно, – повторил он мрачно. – Бросить я не могу. Привык. Я много делаю такого, что если б узнали мои родственники… На прошлой неделе я ходил в театр варьете.

Майра была потрясена. Он опять взглянул на нее зелеными глазами.

– Из всех здешних девочек только ты мне нравишься, – воскликнул он с чувством. – Ты симпатико.

Майра не была в этом уверена, но звучало слово модно, хотя почему-то и неприлично.

На улице уже сгустилась темнота. Лимузин круто свернул, и Майру бросило к Эмори. Их руки соприкоснулись.

– Нельзя тебе курить, Эмори, – прошептала она. – Неужели ты сам не понимаешь?

Он покачал головой.

– Никому до меня нет дела.

Майра сказала не сразу:

– Мне есть.

Что-то шевельнулось в его сердце.

– Еще чего! Ты влюблена в Фрогги Паркера, это всем известно.

– Неправда, – произнесла она медленно – и замолчала.

Эмори ликовал. В Майре, уютно отгороженной от холодной, туманной улицы, было что-то неотразимое. Майра, клубочек из меха, и желтые прядки вьются из-под спортивной шапочки.

– Потому что я тоже влюблен… – Он умолк, заслышав вдали взрывы молодого смеха, и, прильнув к замерзшему стеклу, разглядел под уличными фонарями темные контуры саней. Нужно действовать немедля. С усилием он подался вперед и схватил Майру за руку – вернее, за большой палец.

– Скажи ему, пусть едет прямо в Миннегагу, – шепнул он. – Мне нужно с тобой поговорить, обязательно.

Майра тоже разглядела сани с гостями, на секунду представила себе лицо матери, а потом – прощай строгое воспитание! – еще раз заглянула в те глаза.

– Здесь сверните налево, Ричард, и прямо к клубу Миннегага! – крикнула она в переговорную трубку.

Эмори со вздохом облегчения откинулся на подушки.

«Я могу ее поцеловать, – подумал он. – В самом деле могу. Честное слово».

Небо над головой было где чистое как стекло, где туманное; холодная ночь вокруг напряженно вибрировала. От крыльца загородного клуба тянулись вдаль дороги – темные складки на белом одеяле, и высокие сугробы окаймляли их, словно отмечая путь гигантских кротов. Они постояли на ступеньках, глядя на белую зимнюю луну.

– Такие вот бледные луны… – Эмори неопределенно повел рукой, – облекают людей таинственностью. Ты сейчас похожа на молодую колдунью без шапки, растрепанную… – ее руки потянулись пригладить волосы, – нет, не трогай, так очень красиво.

Они не спеша поднялись на второй этаж, и Майра провела его в маленькую гостиную, как раз такую, о какой он мечтал, где стоял большой низкий диван, а перед ним уютно потрескивал огонь в камине. Несколько лет спустя комната эта стала для Эмори подмостками, колыбелью многих эмоциональных коллизий. Сейчас они поговорили о катании с гор.

– Всегда бывает парочка стеснительных ребят, – рассуждал он, – они садятся на санки сзади, перешептываются и норовят столкнуть друг друга в снег. И всегда бывает какая-нибудь косоглазая девчонка, вот такая, – он скорчил жуткую гримасу, – та все время дерзит взрослым.

– Странный ты мальчик, – задумчиво сказала Майра.

– Чем? – Теперь он был весь внимание.

– Да вечно болтаешь что-то непонятное. Пойдем завтра на лыжах со мной и с Мэрилин?

– Не люблю девочек при дневном свете, – отрезал он и тут же, спохватившись, что это слишком резко, добавил: – Ты-то мне нравишься. – Он откашлялся. – Ты у меня на первом, на втором и на третьем месте.

Глаза у Майры стали мечтательные. Рассказать про это Мэрилин – вот удивится! Как они сидели на диване с этим необыкновенным мальчиком, и камин горел, и такое чувство, будто они одни во всем этом большущем доме.

Майра сдалась. Очень уж располагающая была обстановка.

– Ты у меня от первого места до двадцать пятого, – призналась она дрожащим голосом, – а Фрогги Паркер на двадцать шестом.

За один час Фрогги потерял двадцать пять очков, но он еще не успел это заметить.

Эмори же, будучи на месте, наклонился и поцеловал Майру в щеку. Он еще никогда не целовал девочки и теперь облизал губы, словно только что попробовал какую-то незнакомую ягоду. Потом их губы легонько соприкоснулись, как полевые цветы на ветру.

– Нельзя так, – радостно шепнула Майра. Она нашарила его руку, склонилась головой ему на плечо.

Внезапно Эмори охватило отвращение, все стало ему гадко, противно. Хотелось убежать отсюда, никогда больше не видеть Майру, никогда больше никого не целовать; он словно со стороны увидел свое лицо и ее, их сцепившиеся руки и жаждал одного – вылезти из собственного тела и спрятаться подальше, в укромном уголке сознания.

– Поцелуй меня еще раз. – Ее голос донесся из огромной пустоты.

– Не хочу, – услышал он свой ответ.

Снова молчание.

– Не хочу, – повторил он со страстью.

Майра вскочила, щеки ее пылали от оскорбленного самолюбия, бант на затылке негодующе трепыхался.

– Я тебя ненавижу! – крикнула она. – Не смей больше со мной разговаривать!

– Что? – растерялся он.

– Я скажу маме, что ты меня поцеловал. Скажу, скажу, и она запретит мне с тобой водиться.

Эмори встал и беспомощно смотрел на нее, точно видел перед собой живое существо, совершенно незнакомое и нигде не описанное.

Дверь отворилась, на пороге стояла мать Майры, доставая из сумочки лорнет.

– Ну вот, – начала она приветливо, поднося лорнет к глазам. – Портье так и сказал мне, что вы, наверно, здесь… Здравствуйте, Эмори.

Эмори смотрел на Майру и ждал взрыва, но взрыва не последовало. Сердитое лицо разгладилось, румянец сбежал с него, и, когда она отвечала матери, голос ее был спокоен, как озеро под летним солнцем.

– Мы так поздно выехали, мама, я подумала, что нет смысла…

Снизу донесся звонкий смех и сладковатый запах горячего шоколада и пирожных. Эмори молча стал спускаться по лестнице вслед за матерью и дочерью. Звуки граммофона сливались с девичьими голосами, которые негромко вели мелодию, и словно налетело и окутало его теплое светящееся облако.

Кейси Джонс опять залез в кабину,
Кейси Джонс – работай, не зевай…
Кейси Джонс опять залез в кабину
И последним перегоном двинул в рай[2].

Моментальные снимки юного эгоиста

В Миннеаполисе Эмори провел почти два года. В первую зиму он носил мокасины, которые при рождении были желтыми, но после неоднократной обработки растительным маслом и грязью приобрели нужный зеленовато-коричневый оттенок, а также толстое, серое в клетку пальто и красную спортивную шапку. Красную шапку съела его собака по кличке Граф дель Монте, и дядя подарил ему серый вязаный шлем, очень неудобный: в него приходилось дышать, и дыхание замерзало, один раз он этой гадостью отморозил щеку, и, как ни оттирал ее снегом, она все равно посинела.

Граф дель Монте как-то съел коробку синьки, но это ему не повредило. А через некоторое время он сошел с ума и понесся по улице, натыкаясь на заборы, катаясь в канавах, да так навсегда и умчался безумным аллюром из жизни Эмори. Эмори бросился на кровать и заплакал.

– Бедный маленький Граф! – плакал он. – Бедный, бедный маленький Граф!

Несколько месяцев спустя ему пришло в голову, что сцена сумасшествия была Графом разыграна, и очень ловко.

Самым мудрым изречением в мировой литературе Эмори и Фрог Паркер почитали одну реплику из третьего действия пьесы «Арсен Люпен». И в среду, и в субботу они сидели на дневном спектакле в первом ряду. Изречение было такое: «Если человек не способен стать великим артистом или великим полководцем, самое лучшее для него – стать великим преступником».

Эмори опять влюбился и сочинил стихи. Вот такие:

Их две, а я один —
Люблю и Салли, и Мэрилин.
Хоть Салли очень хороша,
Но к Мэрилин лежит душа.

Его интересовало, первое или второе место займет Макговерн из Миннесоты на всеамериканских футбольных состязаниях, как показывать фокусы с картами и с монетой, галстуки «хамелеон», как родятся дети и правда ли, что Трехпалый Браун как подающий сильнее Кристи Мэтьюсона.

Прочел он среди прочих следующие произведения: «За честь школы», «Маленькие женщины» (два раза), «Обычное право», «Сафо», «Грозный Дэн Макгру», «Широкаядорога» (три раза), «Падениедома Эшеров», «Три недели», «Мэри Уэр, подружка полковника», «Гунга Дин», «Полицейская газета» и «Сборник лучших острот и шуток».

[2] Все стихи в этом романе переведены В. Роговым.

В истории он следовал пристрастиям Хенти[3] и очень любил веселые рассказы с убийствами, которые писала Мэри Робертс Рейнхарт.

Школа испортила ему французский язык и привила отвращение к литературным корифеям. Учителя считали, что он ленив, неоснователен и знания у него поверхностные.

Многие девочки дарили ему прядки волос. Некоторые давали поносить свои колечки, но потом перестали, потому что у него была нервная привычка покусывать их, держа палец у губ, а это вызывало ревнивые подозрения у последующих счастливцев.

Летом Эмори и Фрог Паркер каждую неделю ходили в театр. После спектакля, овеянные благоуханием августовского вечера, шли в веселой толпе домой по Хеннепин и по Николетт-авеню и мечтали. Эмори дивился, как это люди не замечают, что он – мальчик, рожденный для славы, и когда прохожие оборачивались на него и бесцеремонно встречались с ним глазами, напускал на себя самый романтический вид и ступал по воздушным подушкам, которыми устлан асфальт для четырнадцатилетних.

И всегда, улегшись в постель, он слышал голоса – смутные, замирающие, чудесные – совсем близко, прямо за окном, а перед тем как уснуть, видел один из своих любимых, им же придуманных снов: либо о том, как он становится знаменитым полузащитником, либо про вторжение японцев и как в награду за боевые заслуги его производят в чин генерала – самого молодого генерала в мире. Во сне он всегда кем-то становился, а не просто был. В этом очень точно выражался его характер.

Кодекс юного эгоиста

До того как его вытребовали обратно в Лейк-Джинева, он, робея, но не без тайного ликования облекся в первые длинные брюки, а к ним – лиловый плиссированный галстук, воротничок «бельмонт» с плотно сходящимися на горле концами, лиловые носки и носовой платок с лиловой каймой, выглядывающий из нагрудного кармашка. И, что еще важнее, он выработал для себя кодекс, или свою первую философскую систему, которую вернее всего будет определить как аристократический эгоцентризм.

Он пришел к выводу, что самые важные его интересы совпадают с интересами некоего непостоянного, изменчивого человека, именуемого – дабы не отрывать его от прошлого – Эмори Блейном. Он установил, что ему повезло в жизни, поскольку он способен бесконечно развиваться и в хорошую, и в дурную сторону. Он не приписывал себе «сильный характер», но полагался на свои способности (заучиваю быстро) и на свое умственное превосходство (читаю уйму серьезных книг). Он гордился тем, что никогда не достигнет высот ни в технике, ни в точных науках. Все же остальные пути для него открыты.

Наружность. Эмори полагал, что он на редкость красив. Так оно, впрочем, и было. Он уже видел себя многообещающим спортсменом и искусным танцором.

Положение в обществе. Тут, пожалуй, таилась самая большая опасность. Однако он не отказывал себе в оригинальности, обаянии, магнетизме, умении затмить любого сверстника и очаровать любую женщину.

Ум. В этом смысле он ощущал свое явное, неоспоримое превосходство.

Далее придется выдать один секрет. Эмори был наделен чуть ли не пуританской совестью. Не то чтобы он слушался ее – в позднейшие годы он почти окончательно ее задушил, – но

[3] *Хенти* Джордж Элфред (1832–1902) – английский журналист, написавший несколько авантюрно-исторических романов для детей.

в пятнадцать лет она ему подсказывала, что он намного хуже других мальчиков… беззастенчивость… желание влиять на окружающих во всем, даже в дурном… известная холодность и недостаток доброты, порой граничащий с жестокостью… зыбкое чувство чести… неправедное себялюбие… опасливый, неотвязный интерес к вопросам пола.

И еще – все его существо пронизывала какая-то недостойная слабость. Резкое слово, брошенное мальчиком старше его годами (а они, как правило, терпеть его не могли), грозило выбить у него почву из-под ног, повергнуть его в хмурую настороженность или в трусливый идиотизм… он был рабом собственных настроений и сознавал, что хотя и способен проявить бесшабашную дерзость, однако лишен и настоящей храбрости, и упорства, и самоуважения.

Тщеславие, умеряемое если не знанием себя, то недоверием к себе, ощущение, что люди подвластны ему, как автоматы, желание «обогнать» возможно больше мальчиков и достичь некой туманной вершины мира – с таким багажом Эмори вступал в годы юности.

Накануне великих перемен

Поезд, разморенный летней жарой, медленно остановился у платформы в Лейк-Джинева, и Эмори увидел мать, поджидавшую его в своем электромобиле. Мотор был старый, одной из первых марок, серого цвета. Увидев, как грациозно и прямо она сидит и как на ее прекрасном, чуть надменном лице заиграла легкая, полузабытая им улыбка, он вдруг почувствовал, что безмерно гордится ею. Когда он, обменявшись с ней сдержанным поцелуем, залезал в автомобиль, его кольнул страх – не утратил ли он обаяния, необходимого, чтобы держаться на ее уровне.

– Милый мальчик, ты так вырос… Посмотри-ка, не едет ли что-нибудь сзади.

Она бросила взгляд направо, налево и двинулась вперед со скоростью две мили в час, умоляя Эмори быть начеку, а на одном оживленном перекрестке велела ему выйти и бежать вперед, чтобы очистить ей дорогу, как делают постовые полисмены. Беатриса была, что называется, осторожным водителем.

– Ты сильно вырос, но по-прежнему очень красив, ты перешагнул через нескладный возраст – а может быть, это шестнадцать лет? – или четырнадцать, или пятнадцать – всегда забываю, но ты через него перешагнул.

– Не конфузь меня, – еле слышно сказал он.

– Но, дорогой мой, как ты странно одет! Все словно подобрано в тон, или это нарочно? А белье на тебе тоже лиловое?

Эмори невежливо хмыкнул.

– Тебе нужно будет съездить к Бруксу, заказать сразу несколько приличных костюмов. Мы с тобой побеседуем сегодня вечером или, может быть, завтра вечером. Я хочу все выяснить насчет твоего сердца – ты, наверно, запустил свое сердце и сам этого не знаешь.

Эмори подумал, какую непрочную печать наложило на него общение со сверстниками. Оказалось, что, если не считать некоторой робости, его прежнее взрослое сродство с матерью нисколько не ослабло. И все же первые дни он бродил по саду и по берегу озера в состоянии предельного одиночества, черпая какую-то дремотную отраду в том, что курил в гараже дешевый табак с одним из шоферов.

По шестидесяти акрам поместья были во множестве разбросаны старые и новые беседки, фонтаны и белые скамейки, неожиданно возникавшие в тенистых уголках; жило там обширное и неуклонно растущее семейство белых кошек – они рыскали по клумбам, а вечерами внезапно появлялись светлыми пятнами на фоне темных деревьев. На одной из дорожек среди этих темных деревьев Беатриса наконец и настигла Эмори, после того как мистер Блейн, по своему обыкновению, удалился на весь вечер к себе в библиотеку. Побранив его за то, что он ее избегает, она вовлекла его в длинный интимный разговор при лунном свете. Его снова и

снова поражала ее красота, которую он унаследовал, ее прелестная шея и плечи, грация богатой тридцатилетней женщины.

– Эмори, милый, – ворковала она, – после того как мы с тобой расстались, я пережила такое странное, нереальное время.

– В самом деле, Беатриса?

– Когда у меня в последний раз был нервный срыв… – она говорила об этом, как о геройском подвиге, – доктор сказал мне… – голос запел в доверительном регистре, – что любой мужчина, если бы он пил так же упорно, как я, буквально погубил бы свой организм и уже давно сошел бы в могилу, вот именно, милый, в могилу.

Эмори поморщился и попробовал вообразить, как воспринял бы такие слова Фрогги Паркер.

– Да, – продолжала Беатриса на трагических нотах, – меня посещали сны – изумительные видения. – Она прижала ладони к глазам. – Я видела, как бронзовые реки плещутся о мраморные берега, а в воздухе парят огромные птицы – разноцветные, с переливчатым оперением. Я слышала странную музыку и рев дикарских труб… что?

Это у Эмори вырвался смешок.

– Что ты сказал, Эмори?

– Я сказал, а дальше что, Беатриса?

– Вот и все, но это бесконечно повторялось – сады такой яркой расцветки, что наш по сравнению показался бы однотонным, луны, которые плясали и кружились, бледнее, чем зимние луны, золотистее, чем летние…

– А сейчас ты совсем здорова, Беатриса?

– Здорова – насколько это для меня возможно. Меня никто не понимает, Эмори. Я знаю, что не сумею это выразить словами, но… меня никто не понимает.

Эмори даже взволновался. Он обнял мать и тихонько потерся головой о ее плечо.

– Бедная, бедная Беатриса.

– Расскажи мне о себе, Эмори. Тебе эти два года жилось ужасно?

Он хотел было соврать, но передумал.

– Нет, Беатриса. Мне жилось хорошо. Я приспособился к буржуазии. Стал жить как все. – Он сам удивился своим словам и представил себе изумленную физиономию Фрогги.

– Беатриса, – начал он вдруг. – Я хочу уехать куда-нибудь учиться. В Миннеаполисе все уезжают в школу.

– Но тебе только пятнадцать лет.

– Ну что ж, в школу все уезжают в пятнадцать лет, а мне *так* хочется!

Беатриса тогда предложила оставить этот разговор до другого раза, но неделю спустя она, к его великой радости, заговорила сама:

– Эмори, я решила, пусть будет по-твоему. Если ты не раздумал, можешь ехать в школу.

– Правда?

– В Сент-Реджис, в Коннектикуте.

У Эмори даже сердце забилось.

– Я уже списалась с кем нужно, – продолжала Беатриса. – Тебе и правда лучше уехать. Я бы предпочла, чтобы ты поехал в Итон, а потом учился в Оксфорде, в колледже Христовой Церкви, но сейчас это неосуществимо, а насчет университета пока можно не решать, там видно будет.

– А ты что думаешь делать, Беатриса?

– Понятия не имею. Видимо, мне суждено доживать мою жизнь здесь, в Штатах. Имей в виду, я вовсе не жалею, что я американка, более того, таким сожалениям могут, на мой взгляд, предаваться только очень вульгарные люди, и я уверена, что мы – великая нация, нация буду-

щего. Но все же… – она вздохнула, – я чувствую, что моя жизнь должна бы догорать среди более старой, более зрелой цивилизации, в стране зеленых и по-осеннему бурых тонов…

Эмори промолчал.

– О чем я жалею, – продолжала она, – так это о том, что ты не побывал за границей, но, в общем-то, тебе, мужчине, лучше взрослеть здесь, под сенью хищного орла… Так ведь это у вас называется?

Эмори подтвердил, что так. Вторжения японцев она бы не оценила.

– Мне когда ехать в школу?

– Через месяц. Выехать нужно пораньше, чтобы сдать экзамены. Потом у тебя будет свободная неделя, и я хочу, чтобы ты съездил в одно место на Гудзоне, в гости.

– К кому?

– К монсеньору Дарси, Эмори. Он хочет тебя повидать. Сам он учился и Англии, в Харроу, а потом в Йельском университете. Принял католичество. Я хочу, чтобы он с тобой поговорил, – я чувствую, он столько может для тебя сделать… – Она ласково погладила сына по каштановым волосам. – Милый, милый Эмори…

– Милая Беатриса…

И вот в начале сентября Эмори, имея при себе «летнего белья три смены, зимнего белья три смены, один свитер, или пуловер, одно пальто зимнее» и т. д., отбыл в Новую Англию, край закрытых школ.

Были там Андовер и Экзетер, овеянные воспоминаниями о местных знаменитостях, – обширные демократии типа колледжей; Сент-Марк, Гротон, Сент-Реджис, набиравшие учеников из Бостона и старых голландских семейств Нью-Йорка; Сент-Пол, славившийся своими катками; Помфрет и Сент-Джордж – процветающие и элегантные; Тафт и Хочкисс, где богатых сынков Среднего Запада готовили к светским успехам в Йеле; Поулинг, Вестминстер, Чоут, Кент и сотни других, из года в год выпускавшие на рынок вымуштрованную, самоуверенную, стандартную молодежь, предлагавшие в виде духовного стимула вступительные экзамены в университет, излагавшие в сотнях циркуляров свою туманную цель: «Обеспечить основательную умственную, нравственную и физическую подготовку, приличествующую джентльмену и христианину, дать юноше ключ к *решению проблем своего времени и своего поколения*, заложить прочный фундамент для занятий искусствами и науками».

В Сент-Реджисе Эмори пробыл три дня, сдал экзамены с высокомерным апломбом, а затем вернулся в Нью-Йорк, чтобы оттуда отправиться с визитом к своему будущему покровителю. Огромный город, увиденный лишь мельком, не поразил его воображения, оставив только впечатление чистоты и опрятности, когда он ранним утром смотрел с палубы парохода на высокие белые здания вдоль Гудзона. К тому же он был так захвачен мечтами о спортивных триумфах в школе, что эту свою поездку считал всего лишь скучной прелюдией к великим переменам. Оказалось, однако, что его ждет нечто совсем другое.

Дом монсеньора Дарси – старинный, неопределенной архитектуры, стоял высоко над рекой, и владелец его жил там в промежутках между разъездами во все концы католического мира, как какой-нибудь король династии Стюартов, ожидающий в изгнании, когда его снова призовут на престол. Монсеньору было в то время сорок четыре года – цветущий, чуть располневший человек с волосами цвета золотой канители, блестящий и чарующий в обхождении. Когда он входил в комнату в своих алых одеждах, он напоминал закаты у Тернера и сразу привлекал к себе восхищенное внимание. Он успел написать два романа: один, незадолго до своего обращения, резко антикатолический, а второй – через пять лет, в котором пытался изменить свои остроумные выпады против католиков на не менее остроумные шпильки по адресу членов епископальной церкви. Он был ярым сторонником обрядов, великолепным актером, уважал идею Бога настолько, что соблюдал безбрачие и неплохо относился к своим ближним.

Дети обожали его, потому что он был как дитя; молодежь блаженствовала в его обществе, потому что он сам был молод и ничто его не шокировало. В другое время и в другой стране он мог бы стать вторым Ришелье – теперь же это был очень нравственный, очень верующий (если и не слишком набожный) священнослужитель, искусный в пустяковых тайных интригах и в полной мере ценящий жизнь, хотя, возможно, и не так уж ею избалованный.

Он и Эмори с первого взгляда пленили друг друга: вальяжный, почтенный прелат, блиставший на посольских приемах, и зеленоглазый беспокойный мальчик в своих первых длинных брюках, поговорив полчаса, уже ощутили, что их связывают отношения отца с сыном.

– Милый мальчик, я уже сколько лет мечтаю с тобой познакомиться. Выбирай кресло поудобнее, и давай поболтаем.

– Як вам приехал из школы, знаете – Сент-Реджис.

– Да, твоя мама мне писала – замечательная женщина; вот сигареты – ты ведь, конечно, куришь. Ну-с, если ты похож на меня, ты, значит, ненавидишь естествознание и математику…

Эмори с силой закивал головой.

– Терпеть не могу. Люблю английский и историю.

– Разумеется. В школе тебе первое время тоже не понравится, но я рад, что ты поступил в Сент-Реджис.

– Почему?

– Потому что это школа для джентльменов, и демократия не захлестнет тебя так рано. Этого успеешь набраться в университете.

– Я хочу поступить в Принстон, – сказал Эмори. – Не знаю почему, но мне кажется, что из Гарварда выходят хлюпики, каким я был в детстве, а в Йеле все носят толстые синие свитеры и курят трубки.

Монсеньор заметил со смешком:

– Вот и я там учился.

– Ну, вы-то другое дело… Принстон, по-моему, это что-то медлительное, красивое, аристократическое – ну, понимаете, как весенний день. Гарвард – весь замкнутый в четырех стенах…

– А Йель – ноябрь, морозный и бодрящий, – закончил монсеньор.

– Вот-вот.

Так, быстро и на вечные времена, у них установилась душевная близость.

– Я всегда был на стороне принца Чарли, – объявил Эмори.

– Ну еще бы. И Ганнибала…

– Да, и Южной конфедерации. – Признать себя патриотом Ирландии он решился не сразу – в ирландцах ему чудилось что-то недостаточно благородное, но монсеньор заверил его, что Ирландия – романтическая обреченная страна, а ирландцы – милейшие люди, и отдать им свои симпатии более чем похвально.

Пролетел час, в который вместилось еще несколько сигарет и в течение которого монсеньор узнал – с удивлением, но не с ужасом, – что Эмори не взращен в католической вере; а затем он сказал, что ждет еще одного гостя. Этим гостем оказался достопочтенный Торнтон Хэнкок из Бостона, бывший американский посланник в Гааге, автор ученого труда по истории Средних веков и последний отпрыск знатного, прославленного своими патриотическими подвигами старинного рода.

– Он приезжает сюда отдохнуть, – доверительно, как равному, сообщил Эмори монсеньор. – У меня он спасается от слишком утомительного агностицизма, и, думается, только я один знаю, что при всем своем трезвом уме он носится по воле волн и жаждет ухватиться за такой крепкий обломок мачты, как церковь.

Их первый совместный обед остался для Эмори одним из памятных событий его юности. Сам он так и лучился радостью и очарованием. Монсеньор вопросами и подсказкой вытащил на

свет его самые интересные мысли, и Эмори с легкостью и блеском рассуждал о своих желаниях и порывах, антипатиях, увлечениях и страхах. Говорили только он и монсеньор, а старший гость, по характеру не столь восприимчивый и всеприемлющий, хотя отнюдь не холодный, слушал и нежился в мягком солнечном свете, перебегавшем от одного к другому. Монсеньор на многих действовал как луч солнца, и Эмори тоже – в юности и отчасти много позднее, но никогда больше не повторилось это непроизвольное двойное свечение.

«Какой лучезарный мальчик», – думал Торнтон Хэнкок, которому довелось на своем веку повидать величие двух континентов, беседовать с Парнеллом, Гладстоном и Бисмарком, – а позже, в разговоре с монсеньором, он добавил:

– Только не следовало бы вверять его образование какой-нибудь школе или колледжу.

Но в ближайшие четыре года способности Эмори были направлены главным образом на завоевание популярности, а также на сложности университетского общественного строя и американского общества в целом в том виде, как они выявлялись на чаепитиях в отеле «Билтмор» и в гольф-клубах Хот-Спрингса.

…Да, удивительная неделя, когда весь духовный мир Эмори оказался перетряхнут и подтвердились сотни его теорий, а ощущение радости жизни претворилось в тысячу честолюбивых замыслов. Причем разговоры велись отнюдь не ученые, боже сохрани! Эмори лишь очень смутно представлял себе, что такое Бернард Шоу, но монсеньор умел извлечь столько же из «Любимого бродяги» и «Сэра Найджела», зорко следя за тем, чтобы Эмори ни разу не почувствовал себя профаном.

Однако трубы уже трубили сигнал к первому бою между Эмори и его поколением.

– Тебе, конечно, не жаль уезжать от меня, – сказал монсеньор. – Для таких, как мы с тобой, родной дом там, где нас нет.

– Мне ужасно жаль…

– Неправда. Ни тебе, ни мне никто по-настоящему не нужен.

– Ну, не знаю…

– До свидания.

Эгоисту плохо

Два года неудач и триумфов, проведенные Эмори в Сент-Реджисе, сыграли в его жизни столь же незначительную роль, как все американские подготовительные школы, придавленные пятой университетов, – в американской жизни в целом. У нас нет Итона, где формируется психология правящего класса, вместо этого у нас имеются чистенькие, пресные и безобидные подготовительные школы.

Эмори сразу взял неверный тон, его сочли высокомерным и наглым и дружно невзлюбили. Он усиленно играл в футбол, проявляя то залихватскую удаль, то максимум осторожности, совместимой с достойным поведением спортсмена на поле. Однажды, поддавшись безотчетному страху, он отказался драться с мальчиком одного с ним роста и веса, а через неделю, войдя в раж, сам полез в драку с другим мальчиком, гораздо более рослым и сильным, и вышел из схватки жестоко избитый, но вполне довольный собой.

В любом начальнике он видел врага, и это, в сочетании с ленивым равнодушием к занятиям, бесило преподавателей. Захандрив, он вообразил себя отверженным, стал искать мрачного уединения и читать по ночам. Страшась одиночества, он завел себе двух-трех приятелей, но поскольку они не принадлежали к школьной элите, использовал их просто как зеркало, как публику, перед которой позировал, – без этого он не мог жить. Ему было до ужаса тоскливо, до невероятия тяжело.

Кое-какие мелочи служили ему утешением. Когда его заливали волны отчаяния, последним на поверхности оставалось его тщеславие, так что он все же не остался равнодушен, когда

Вуки-Вуки, старая глухая экономка, сказала ему, что такого красавца, как он, отродясь не видала. Ему было приятно, что он самый быстрый и самый младший в футбольной команде; приятно было после оживленного диспута услышать от доктора Дугала, что при желании он мог бы выйти на первое место в школе. Впрочем, доктор Дугал ошибался. Выйти на первое место в школе Эмори не мог – не так он был создан.

Несчастный, загнанный, нелюбимый ни товарищами, ни учителями – таким был Эмори в первом триместре. Однако, приехав на рождественские каникулы в Миннеаполис, он ни словом никому не пожаловался, напротив.

– Сначала было непривычно, – небрежно рассказывал он Фрогги Паркеру, – а потом все наладилось. Я самый быстрый в нашей команде. Надо бы и тебе поехать в школу, Фрогги. Там просто здорово.

Эпизод с доброжелательным преподавателем

В последний вечер первого триместра старший преподаватель мистер Марготсон вызвал Эмори на девять часов к себе в кабинет. Эмори сразу заподозрил, что предстоит выслушивать советы, но решил держаться вежливо, потому что этот мистер Марготсон всегда относился к нему терпимо.

Учитель встретил его с серьезным лицом и знаком пригласил сесть. Потом откашлялся и придал себе нарочито доброе выражение, как человек, понимающий, что ступает на скользкую почву.

– Эмори, – начал он, – я хочу поговорить с вами по личному делу.

– Да, сэр?

– Я приглядывался к вам весь этот год, и я… я вами доволен. Мне кажется, у вас есть задатки очень… очень хорошего человека.

– Да, сэр? – выдавил из себя Эмори. Неприятно, когда с тобой говорят, как с отпетым неудачником.

– Однако я заметил, – продолжал учитель, набравшись духу, – что товарищи вас недолюбливают.

– Да, сэр. – Эмори облизал губы.

– Так вот, я подумал, может быть, вам не совсем ясно, что именно им в вас… гм… не нравится. Сейчас я вам это скажу, ибо я считаю, что, если ученик знает свои недостатки, ему легче исправиться… понять, чего от него ждут, и поступать соответственно. – Он опять откашлялся, негромко и деликатно, и продолжал: – Видимо, они считают вас… гм… немного нахальным.

Эмори не выдержал. Он встал, и, когда заговорил, голос его срывался.

– Знаю, неужели вы думаете, что я не знаю? – Он почти кричал. – Знаю я, что они думают, можете мне не говорить. – Он осекся. – Я… я… мне надо идти… простите, если вышло грубо.

Он выбежал из комнаты. Вырвавшись на свежий воздух, по дороге в свое общежитие он бурно радовался, что не пожелал принять чью-то помощь.

– Старый дурак! – восклицал он злобно. – Как будто я сам не знаю!

Однако он решил, что теперь у него есть уважительная причина, чтобы больше сегодня не заниматься, и, уютно устроившись у себя в спальне, сунул в рот вафлю и стал дочитывать «Белый отряд».

Эпизод с чу́дной девушкой

В феврале сверкнула яркая звезда. Нью-Йорк в день рождения Вашингтона внезапно открылся ему во всем блеске. В то первое утро город промелькнул перед ним белой полоской на фоне густо-синего неба, оставив впечатление величия и могущества под стать сказочным

дворцам из «Тысячи и одной ночи»; теперь же Эмори увидел его при свете электричества, и романтикой дохнуло от гигантских световых реклам на Бродвее и от женских глаз в ресторане отеля «Астор», где он обедал с Паскертом из Сент-Реджиса. И позже, когда они шли по проходу в партере, а навстречу им неслась будоражащая нервы какофония настраиваемых скрипок и тяжелый, чувственный аромат духов и пудры, он весь растворялся в эпикурейском наслаждении. Все приводило его в восторг. Давали «Маленького миллионера» с Джорджем М. Коэном, и была там одна миниатюрная брюнетка, которая так танцевала, что Эмори чуть не плакал от восхищения.

Чу́дная девушка,
Как ты чудесна,—

пел тенор, и Эмори соглашался с ним молча, но от всей души.

Чудные речи твои
Мне сердце пронзили…

Смычки пропели последние ноты громко и трепетно, девушка смятой бабочкой упала на подмостки, зал разразился аплодисментами. Ах, влюбиться бы вот так, под звуки этой томной, волшебной мелодии! Последнее действие происходило в кафе на крыше, и виолончели вздохами славили луну, а на авансцене, легкие, как пена на шампанском, порхали комические повороты сюжета. Эмори изнывал от желания стать завсегдатаем таких вот кафе на крышах, встретить такую девушку – нет, лучше эту самую девушку, и чтобы в волосах ее струилось золотое сияние луны, а из-за его плеча официант-иностранец подливал ему в бокал искрометного вина. Когда занавес опустился в последний раз, он вздохнул так глубоко и горестно, что зрители, сидевшие впереди, удивленно оглянулись, а потом он расслышал слова:

– До чего же красив мальчишка!

Это отвлекло его мысли от пьесы, и он стал думать, действительно ли его внешность пришлась по вкусу населению Нью-Йорка.

К себе в гостиницу они шли пешком и долго молчали. Первым заговорил Паскерт. Его неокрепший пятнадцатилетний голос печально вторгся в размышления Эмори.

– Хоть сейчас женился бы на этой девушке.

О какой девушке шла речь, было ясно.

– Я был бы счастлив привести ее к нам домой и познакомить с моими родителями, – продолжал Паскерт.

Эмори проникся к нему уважением и пожалел, что не сам произнес эти слова. Они прозвучали так внушительно.

– Я вот думаю про актрис. Интересно, они все безнравственные?

– Ничего подобного, – уверенно ответил многоопытный юноша. – Эта девушка, например, безупречна, тут сразу видно.

Они шли, смешавшись с бродвейской толпой, паря на крыльях музыки, вырывавшейся из дверей кафе. Всё новые лица вспыхивали и гасли, как сотни огней, бледные лица или нарумяненные, усталые, но все равно возбужденные. Эмори вглядывался в них с жадностью. Он строил планы на будущее. Он поселится в Нью-Йорке, станет знакомой фигурой во всех ресторанах и кафе, будет носить фрак с раннего вечера до раннего утра, а днем, когда делать нечего, – спать.

– Да-да, я хоть сейчас женился бы на этой девушке!

Эпизод в героических тонах

Октябрь второго, и последнего, года, проведенного в Сент-Реджисе, крепко запомнился Эмори. Матч с Гротоном начался в три часа в прохладный погожий день, а закончился, когда уже сгустились холодные осенние сумерки; и Эмори, игравший полузащитником, в отчаянии взывая о поддержке, совершая немыслимые захваты, выкрикивая команды голосом, осевшим до хриплого, исступленного шепота, все же нашел время с гордостью ощутить и белую, в пятнах крови повязку у себя на голове, и героику сцепившихся в беспорядочной схватке потных, наседающих тел, ноющих рук и ног. В эти минуты храбрость, как вино, вливалась в него из октябрьского полумрака, и вот он, извечный герой, родной брат морскому бродяге с ладьи викинга, родной брат Роланду и Горацию, сэру Найджелу и Теду Кою, вырывается вперед и, собственной волей брошенный в прорыв, сдерживает натиск живой стены, слыша издалека одобрительный рев трибуны… и наконец, весь в ушибах и ссадинах, вымотанный, но неуловимый, мчится с мячом по широкой дуге, виляет вправо, влево, меняет темп, работает кулаком и, чувствуя, что сразу двое хватают его за ноги, валится наземь за воротами Гротона, одержав для своей команды желанную победу.

Философия прилизы

С высоты своих успехов в старшем классе Эмори только посмеивался, вспоминая, как нелегко ему пришлось в первый год. Он изменился настолько, насколько Эмори Блейн вообще мог измениться. Эмори, плюс Беатриса, плюс два года в Миннеаполисе – таков он был, когда поступал в Сент-Реджис. Но годы в Миннеаполисе наложили на него лишь очень тонкий внешний слой, недостаточный, чтобы скрыть «Эмори плюс Беатрису» от всевидящих глаз закрытой школы, так что сама эта школа взялась безжалостно вытравливать из него Беатрису и натягивать на изначального Эмори новую, не столь экзотическую оболочку.

Однако ни Сент-Реджис, ни Эмори не оценили того обстоятельства, что изначальный-то Эмори не изменился. Свойства, за которые ему так жестоко доставалось, – обидчивость, позерство, лень, склонность прикидываться дурачком – теперь принимались как должное, как невинные чудачества блестящего полузащитника, способного актера и редактора сент-реджисского «Болтуна»: он с удивлением убеждался, что некоторые младшие школьники подражают тем самым замашкам, которые еще так недавно в нем осуждались.

Когда кончился футбольный сезон, он расслабился в мечтательном довольстве. В вечер бала перед каникулами он рано улизнул к себе и лег, чтобы насладиться музыкой скрипок, летевшей к нему в окно поверх газонов. И много еще вечеров он провел там, грезя наяву о тайных кабачках Монмартра, где матово-бледные женщины поверяют романтические секреты дипломатам и кондотьерам и оркестр играет венгерские вальсы, а воздух густо настоян на лунном свете, интригах и авантюрах. Весной он по заданию преподавателя прочел «L'Allegro»[4] и, вдохновленный Мильтоном, стал упражняться в лирических стихах на тему Аркадии и свирели Пана. Он передвинул свою кровать к окну, чтобы солнце будило его пораньше, и, едва одевшись, бежал к старым качелям, подвешенным на яблоне возле общежития шестого класса. Раскачиваясь все сильней и сильней, он чувствовал, что возносится в самое небо, в волшебную страну, где обитают сатиры и белокурые нимфы – копии тех девушек, что встречались ему на улицах Истчестера. Раскачавшись до предела, он действительно оказывался над гребнем невысокого холма, за которым бурая дорога терялась вдали золотою точкой.

---

[4] *«L'Allegro»* — ранняя поэма Джона Мильтона (1608–1674), в которой автор изображает себя беззаботным юношей, наслаждающимся созерцательной жизнью на природе.

Среди множества книг, прочитанных им в ту весну, когда ему только-только пошел восемнадцатый год, были «Джентльмен из Индианы», «Новые сказки 1001 ночи», «Человек, который был четвергом» (понравилось, хотя и не понял), «Стоувер в Йеле» (книга, ставшая для него своего рода руководством), «Домби и сын» (когда решил, что надо быть разборчивей в выборе чтения), Роберт Чемберс, Дэвид Грэм Филлипс и Филлипс Оппенгейм – все подряд – и кое-что Теннисона и Киплинга. Из всей школьной программы его кроме «L'Allegro» привлекла только строгая ясность стереометрии.

К началу июня он ощутил потребность в собеседнике, чтобы было перед кем облекать в слова свои новые мысли, и сам удивился, найдя собрата-философа в лице Рэхилла, старосты шестого класса. В долгих беседах – то шагая по дорогам, то лежа на животе на краю бейсбольного поля или поздно вечером попыхивая в темноте сигаретами – они обсуждали школьные дела, и тогда-то родился термин «прилиза».

– Курить есть? – шепнул как-то вечером Рэхилл, всунув голову к Эмори в спальню через пять минут после отбоя.

– Ага.

– Я вхожу.

– Возьми пару подушек и можешь лечь у окна.

Эмори сел в постели и закурил, пока Рэхилл устраивался. Любимой темой Рэхилла была будущность шестиклассников, и Эмори не уставал снабжать его прогнозами.

– Тед Коннерс? Ну, это просто. На экзаменах срежется, все лето будет заниматься с репетитором, по трем-четырем предметам сдаст переэкзаменовки, а первую же сессию опять завалит. Вернется к себе на Запад и с годик будет кутить напропалую, а потом папаша пристроит его торговать красками. Женится, народит четырех безмозглых сыновей. На всю жизнь сохранит уверенность, что Сент-Реджис пошел ему во вред и сыновья его будут ходить в городскую школу в Портленде. Умрет в возрасте сорока одного года от двигательной атаксии, а жена его пожертвует пресвитерианской церкви купель, или как это там называется, и выгравирует на ней его имя, и…

– Стой, Эмори, хватит. Очень уж мрачно. А про себя ты что скажешь?

– Я из другой категории, высшей. И ты тоже. Мы философы.

– Я-то нет.

– Глупости. Котелок у тебя варит здорово.

Но Эмори знал, что любые абстракции, любые обобщения и теории для Рэхилла пустой звук, пока он не наткнется на вполне конкретные и наглядные их иллюстрации.

– Да нет же, – не сдавался Рэхилл. – Я всем даю собой помыкать, а сам ничего от этого не получаю. Я, черт подери, просто жертва моих одноклассников – готовлю за них уроки, выцарапываю их из всяких заварух, летом, как дурак, езжу к ним в гости и развлекаю их малолетних сестер, терплю, когда они ведут себя как эгоисты, а они воображают, что в награду за это делают мне приятное – голосуют за меня, и твердят, что я – вожак Сент-Реджиса. Я хочу жить там, где каждый делает свое дело и любого можно послать подальше. Надоело мне нянчиться со здешними недоумками.

– Ты не прилиза, – сказал вдруг Эмори.

– Не кто?

– Не прилиза.

– Это еще что такое?

– Как бы тебе объяснить… это что-то такое… их очень много. Ты не из них, и я тоже, хотя я, пожалуй, скорее.

– А кто, например, из них? И почему ты такой же?

Эмори ответил, подумав:

– Ну… как тебе сказать… главный признак, по-моему, это когда человек зачесывает волосы назад, смачивает их и прилизывает.

– Как Карстэрс?

– Вот-вот. Он как раз прилиза.

Два вечера ушло на выработку точного определения. У прилизы красивая или, во всяком случае, аккуратная внешность. Он хорошо соображает и использует все средства, совместимые с честностью, чтобы продвинуться в жизни, заслужить популярность и восхищение и избежать неприятностей. Он хорошо одевается, сугубо опрятен, а названием своим обязан тому, что волосы носит короткие, на прямой пробор и, смочив их водой, прилизывает по последней моде. В том году прилизы избрали эмблемой своего братства роговые очки, так что их было очень легко распознать, Эмори и Рэхилл ни одного не пропустили. Прилиза мог попасться в любом классе, всегда оказывался похитрее и поосмотрительнее своих сверстников и возглавлял какую-нибудь группу или команду, а способности свои тщательно скрывал.

Термин «прилиза» очень помогал Эмори классифицировать людей до первого года в университете, но там его контуры расплылись и смазались до того, что понадобились уже подклассы, из термина он превратился просто в качество. Идеал, который втайне лелеял Эмори, обладал всеми свойствами прилизы, но с добавлением храбрости и недюжинного ума и таланта – а еще Эмори наделил его некоторой долей эксцентричности, что уже никак не входило в портрет чистопородного прилизы.

Это было первым подлинным отходом от ханжества школьных традиций.

Понятие «прилиза» подразумевало известную долю житейского успеха, чем он существенно отличался от школьного «примерного ученика».

Прилиза

1. Тонко чувствует общественную иерархию.
2. Считает, что одежда – чепуха, и не уделяет ей должного внимания.
3. Занимается только тем, в чем можно блеснуть.
4. Поступает в университет и в светском смысле достигает успехов.
5. Волосы прилизывает.

Примерный

1. Глуповат и игнорирует общественную иерархию.
2. Хорошо одевается. Уверяет, что одежда – чепуха, но знает, что это не так.
3. Занимается всем подряд из чувства долга.
4. Поступает в университет, где будущее его проблематично. Теряется вне привычной обстановки и уверяет, что школьные годы как-никак были самые счастливые. Наезжает в школу и произносит речи о полезной деятельности учеников Сент-Реджиса.
5. Волосы не прилизывает.

Эмори окончательно остановил свой выбор на Принстоне, несмотря даже на то что больше никто из его класса туда не поступал. Йель был овеян романтикой по рассказам, слышанным еще в Миннеаполисе, а позднее – от выпускников Сент-Реджиса, запроданных в «Череп и кости», но Принстон притягивал сильнее – соблазняли его яркая красочность и репутация самого приятного в Америке загородного клуба. Омраченные грозной перспективой вступительных экзаменов, школьные годы Эмори незаметно уплыли в прошлое. Через много лет, когда он снова попал в Сент-Реджис, он словно начисто забыл свои успехи в старшем классе, а себя мог вспомнить только трудным мальчиком, что бегал когда-то по коридорам, спасаясь от издевок сверстников, обезумевших от избытка здравомыслия.

Глава II
Шпили и химеры

Сперва Эмори заметил только яркий солнечный свет – как он струится по длинным зеленым газонам, танцует в стрельчатых окнах, плавает вокруг шпилей, над башнями и крепостными стенами. Постепенно до его сознания дошло, что он в самом деле идет по Университетской улице, стесняясь своего чемодана, приучая себя смотреть мимо встречных, прямо вперед. Несколько раз он мог бы поклясться, что на него оглянулись с неодобрением. Смутно мелькнула мысль, что он допустил какую-то небрежность в одежде, сожаление, что утром не побрился в поезде. Он чувствовал себя скованным и нескладным среди молодых людей в белых костюмах и без шляп – скорее всего, студентов старших курсов, судя по их уверенному, скучающему виду.

Дом 12 по Университетской, большой и ветхий, показался ему необитаемым, хотя он знал, что обычно здесь живет десятка полтора первокурсников. Наскоро объяснившись с хозяйкой, он вышел на разведку, но, едва дойдя до угла, с ужасом сообразил, что во всем городе, видимо, только он один носит шляпу. Чуть не бегом он вернулся в дом 12, оставил там свой котелок и уже с непокрытой головой побрел по Нассау-стрит. Постоял перед витриной, где были выставлены фотографии спортсменов, в том числе большой портрет Алленби, капитана футбольной команды, потом увидел над окном кафе вывеску «Мороженое», вошел и уселся на высокий табурет.

– Шоколадного, – сказал он лакею-негру.

– Двойной шоколадный сандэ? Что-нибудь еще?

– Пожалуй.

– Булочку с беконом?

– Пожалуй.

Булочки оказались превкусные, он сжевал их четыре штуки, а потом, не наевшись, – еще один двойной шоколадный сандэ. После чего, окинув беглым взглядом развешанные по стенам сувениры, кожаные вымпелы и гибсоновских красавиц, вышел из кафе и, руки в карманах, пошел дальше по Нассау-стрит. Понемногу он учился отличать старшекурсников от новичков, хотя форменные шапки предстояло носить только со следующего понедельника. Те, кто слишком явно, слишком нервно корчил из себя старожилов, были новички, и каждая новая партия их, прибывшая с очередным поездом, тут же растворялась в толпе юнцов без шляп, в белых туфлях, нагруженных книгами, словно нанявшихся без конца шататься взад-вперед по улице, пуская клубы дыма из новеньких трубок. К середине дня Эмори заметил, что теперь уже его самого новички принимают за старшекурсника, и постарался придать себе выражение скучающего превосходства и снисходительной насмешки, которое, как ему казалось, он прочел на большей части окружающих лиц.

В пять часов он ощутил потребность услышать собственный голос и повернул к дому – посмотреть, не приехал ли кто-нибудь еще. Он поднялся по шаткой лестнице и, грустно оглядев свою комнату, пришел к выводу, что нечего и пытаться украсить ее чем-нибудь более облагораживающим, чем те же спортивные вымпелы и портреты чемпионов. В дверь постучали.

– Войдите!

Дверь приоткрылась, и показалось узкое лицо с серыми глазами и веселой улыбкой.

– Молотка не найдется?

– Нет, к сожалению. Может быть, есть у миссис Двенадцать, или как там ее зовут.

Незнакомец вошел в комнату.

– Это, значит, ваше обиталище?

Эмори кивнул.

– Сарай сараем, а плата ого-го.

Эмори был вынужден согласиться.

– Я подумывал о студенческом городке, – сказал он, – но там, говорят, почти нет первокурсников, тоска смертная. Не знают, куда себя девать, – хоть садись за учебники.

Сероглазый решил представиться.

– Моя фамилия Холидэй.

– Моя – Блейн.

Они обменялись рукопожатием, по-модному низко опустив стиснутые руки.

– Вы где готовились?

– Андовер. А вы?

– Сент-Реджис.

– Да? У меня там кузен учился.

Они подробно обсудили кузена, а потом Холидэй сообщил, что в шесть часов сговорился пообедать с братом.

– Хотите к нам присоединиться?

– С удовольствием.

В «Кенилворте» Эмори познакомился с Бэрном Холидэем – сероглазого звали Керри, – и во время скудного обеда с жиденьким бульоном и пресными овощами они разглядывали других первокурсников, которые сидели в ресторане либо маленькими группками – и тогда выглядели весьма растерянно, либо большими группами и тогда словно уже чувствовали себя как дома.

– В университетской столовой, я слышал, кормят скверно, – сказал Эмори.

– Да, говорят. Но приходится там столоваться – или, во всяком случае, платить за еду.

– Безобразие!

– Грабеж!

– О, в Принстоне на первом курсе спорить не полагается. Все равно как в школе.

Эмори со вздохом кивнул.

– Зато здесь настоящая жизнь, – сказал он. – В Йель я бы и за миллион не поехал.

– Я тоже.

– Что-нибудь для себя выбрали? – спросил Эмори у старшего из братьев.

– Я-то нет. Вот Бэрн – тот рвется в «Принц» – ну, знаете, в «Принстонскую газету».

– Знаю.

– А вы что-нибудь для себя выбрали?

– В общем, да. Хочу попробоваться в курсовой футбольной команде.

– Играли в Сент-Реджисе?

– Немножко, – соскромничал Эмори. – Только я в последнее время ужасно похудел.

– Вы не худой.

– Ну, прошлой осенью я был просто крепыш.

– Да?

Из ресторана они пошли в кино, где Эмори с одинаковым интересом прислушивался и к насмешливым замечаниям молодого человека, сидевшего впереди его, и к оглушительным выкрикам из зала.

– Йохо!

– Мой дорогой – такой большой и сильный, – но ах, и нежный притом!

– В клинч!

– В клинч его!

– Ну же, целуй ее, чего медлишь?

– У-у-у!

В одном углу стали насвистывать «На берегу морском», и зал дружно подтянул. За этим последовала песня, в которой слов было не разобрать, так громко все топали ногами, а затем – нечто бесконечное, бессвязное и заунывное:

О! О! О!
На кондитерской фабрике служит она —
Что ж, пусть Бог ей за то пошлет.
Но я не поверю, будто без сна —
Черта с два! —
Она варит варенье всю ночь напролет!
О! О! О!

Проталкиваясь к выходу, бросая вокруг и ловя на себе сдержанно-любопытные взгляды, Эмори решил, что в кино ему понравилось и держаться там надо так, как те старшекурсники, что сидели впереди них, – раскинув руки по спинкам кресел, отпуская едкие, остроумные замечания, проявляя одновременно критический склад ума и веселую терпимость.

– Съедим, что ли, мороженое, то есть, простите, сандэ? – предложил Керри.

– Обязательно.

Они сытно поужинали и не спеша двинулись к дому.

– Вечер-то какой.

– Красота.

– Вам еще распаковывать чемоданы?

– И верно. Пошли, Бэрн.

Эмори пожелал им спокойной ночи – сам он решил еще посидеть на крыльце.

В наступившей темноте купы деревьев чернели как призраки. Луна, едва взойдя, прошлась по крышам бледно-голубой краской, и, пробираясь в ночи, застревая в узких расселинах лунного света, до него доносилась песня – песня, в которой явственно звучала печаль, что-то быстротечное, невозвратное.

Ему вспомнился рассказ человека, окончившего университет еще в девяностых годах, про одну из любимых забав Бута Таркингтона[5] – как он на рассвете, выйдя на университетский двор, пел тенором песни звездам, будя в душах благонравных студентов разнообразные чувства – смотря по тому, кто в каком был настроении.

И тут из темной дали Университетской улицы показалась белая колонна – стройным маршем приближались фигуры в белых костюмах, локтями сцепившись в шеренги, откинув головы.

Все назад, все назад,
Все назад – в Нассау-Холл,
Все назад, все назад,
Всё он в мире превзошел!
Все назад, все назад —
Куда бы рок нас ни завел,—
Эй, от-ряд – все на-зад,
Все на-зад – в Нассау-Холл!

[5] *Таркингтон* Бут (1869–1946) – американский прозаик и драматург, автор романа «Джентльмен из Индианы». Воспитанник Принстонского университета.

Призрачная процессия была уже близко, и Эмори закрыл глаза. Песня взмыла так высоко, что выдержали одни тенора, но те победно пронесли мелодию через опасную точку и сбросили вниз, в припев, подхваченный хором. Тогда Эмори открыл глаза, все еще опасаясь, как бы зрительный образ не нарушил иллюзию совершенной гармонии.

И тут он даже ахнул от волнения. Во главе белой колонны шагал Алленби, футбольный капитан, стройный и гордый, словно помнящий, что в этом году он должен оправдать надежды всего университета, что именно он, легковес, прорвавшись через широкие алые и синие линии, принесет Принстону победу.

Замерев, Эмори смотрел, как проходит шеренга за шеренгой – локти сцеплены, лица – мутные пятна над белыми спортивными рубашками, голоса сливаются в торжественном гимне, – а потом шествие втянулось под темную арку Кембла и голоса стали затихать, удаляясь к востоку, в сторону университетского городка.

Эмори еще долго сидел не шевелясь. Он пожалел, что правила запрещают первокурсникам выходить из дому после отбоя, – так хотелось побродить по тенистым, сладко пахнущим улочкам, где старейший колледж Уидерспун, как отец в темных одеждах, осеняет своих ампирных детей Вигов и Клио, где Литл черной готической змеей сползает к Паттону и Койлеру, а те, в свою очередь, таинственно властвуют над тихим лугом, что отлого спускается до самого озера.

Принстон при свете дня постепенно просачивался в его сознание – корпуса Вест и Реюнион, детища шестидесятых годов; Зал Семьдесят Девятого, красно-кирпичный, чванный; Нижняя Пайн и Верхняя Пайн – знатные леди елизаветинских времен, против воли вынужденные жить среди лавочников, и над всем – устремленные к небу в четком синем взлете романтические шпили башен Холдер и Кливленд.

Он сразу полюбил Принстон – его ленивую красоту, не до конца понятную значительность, веселье тренировок при луне, красивых, нарядных спортсменов и за всем этим пульс борьбы, не утихающей на его курсе. С того первого дня, когда первокурсники, разгоряченные, усталые, сидя в гимнастическом зале, выбрали президентом курса кого-то из школы Хилл, вице-президентом знаменитость из Лоренсвилла, а секретарем – хоккейную звезду из Сент-Пола, и до самого конца второго учебного года она беспрестанно давала себя чувствовать, эта всесильная общественная система, это преклонение, о котором упоминалось лишь изредка, которого как бы и не было, – преклонение перед «вожаком».

Прежде всего – деление по школам. Эмори, единственный питомец Сент-Реджиса, наблюдал, как возникают и растут землячества – Сент-Пол, Помфрет, Хилл, как в столовой они едят за своими определенными столами, в гимнастическом зале переодеваются в определенном углу и бессознательно окружают себя стеной из чуть менее важных, но честолюбивых, которые ограждали бы их от соприкосновения с дружелюбными и слегка растерянными юнцами из городских средних школ. Подметив это, Эмори тут же возненавидел социальные барьеры как искусственные различия, придуманные сильными для ободрения своих слабых приспешников и отстранения почти таких же сильных, как они сами.

Решив стать одним из богов своего курса, он записался на футбольные тренировки, но через две недели, когда в «Принстонской газете» уже появилась о нем заметка, повредил колено, да так серьезно, что на весь сезон выбыл из строя. Пришлось обдумывать свое положение заново.

В «Униви 12» обитало десятка полтора разношерстных вопросительных знаков. Были среди них три-четыре незаметных испуганных птенца из Лоренс-вилла, два дилетанта-забулдыги из частной школы в Нью-Йорке (Керри Холидэй окрестил их «Пьющие плебеи»), один молодой еврей, тоже из Нью-Йорка, и, в утешение Эмори, братья Холидэй, к которым он сразу проникся симпатией.

Холидэев многие считали близнецами, но на самом деле темный шатен Керри был на год старше блондина Бэрна. Керри был высокий, с веселыми серыми глазами и быстрой, подкупающей улыбкой; он сразу стал ментором всего общежития: осаживал сплетников, одергивал хвастунов, всех оделял своим тонким, язвительным юмором. Эмори пытался вместить в разговор о их будущей дружбе все свои идеи о том, какую роль университет призван сыграть в их жизни, но Керри, несклонный принимать слишком многое всерьез, только журил его за преждевременный интерес к сложностям социальной системы, однако же относился к нему хорошо – с усмешкой и с участием.

Бэрн, светловолосый, молчаливый, вечно занятый, появлялся в общежитии как тень – тихо пробирался к себе поздно вечером, а рано утром уже спешил работать в библиотеку – он лихорадочно готовился к конкурсу на редактора «Принстонской», в котором участвовали еще сорок соискателей. В декабре он заболел дифтеритом, и по конкурсу прошел кто-то другой, но в феврале, вернувшись в университет, снова бесстрашно ринулся в бой. Эмори успевал только перекинуться с ним словами по дороге на лекции и обратно и, хотя был, конечно, осведомлен о его заветных планах, по сути, не знал о нем ничего.

У самого Эмори дела шли неважно. Ему недоставало того положения, которое он завоевал в Сент-Реджисе, где его знали и восхищались им; но Принстон вдохновлял его, и впереди ждало много такого, что могло разбудить дремавшего в нем Макиавелли – лишь бы за что-то зацепиться для начала. Воображение его занимали студенческие клубы, о которых он летом не без труда почерпнул кое-какие сведения у одного окончившего Принстон: «Плющ» – надменный и до ужаса аристократичный; «Коттедж» – внушительный сплав блестящих авантюристов и щеголей-донжуанов; «Тигр» – широкоплечий и спортивный, энергично и честно поддерживающий традиции подготовительных школ; «Шапка и мантия» – антиалкогольный, с налетом религиозности и политически влиятельный; пламенный «Колониальный», литературный «Квадрат» и десяток других, различных по времени основания и по престижу.

Все, чем студент младшего курса мог выделиться из толпы, клеймилось словом «высовываться». Насмешливые замечания в кино принимались как должное, но отпускать их без меры значило высовываться, обсуждать сравнительные достоинства клубов значило высовываться; слишком громко ратовать за что-нибудь, будь то вечеринки с выпивкой или трезвенность, значило высовываться. Короче говоря, привлекать внимание к своей особе считалось предосудительным, и уважением пользовались те, кто держался в тени – до тех пор, пока после выборов в клубы в начале второго учебного года каждый не оказывался при своем деле уже на все время пребывания в университете.

Эмори выяснил, что сотрудничество в «Нассауском литературном журнале» не сулит ничего интересного, зато место в редакционном совете «Принстонской газеты» – подлинно высокая марка. Смутные мечты о том, чтобы прославиться на спектаклях Английского драматического кружка, увяли, когда он установил, что лучшие умы и таланты сосредоточены в «Треугольнике» – клубе, ставившем музыкальные комедии с ежегодным гастрольным турне на рождественских каникулах. А пока, не находя себе места от одиночества и тревожной неудовлетворенности, строя и отметая все новые туманные замыслы, он весь первый семестр бездельничал, снедаемый завистью к чужим удачам, пусть даже самым пустячным, теряясь в догадках, почему их с Керри сразу не причислили к элите курса.

Много часов провели они у окон «Униви 12», глядя, как студенты идут в столовую, отмечая, как вожаки обрастают свитой, как спешат куда-то, не поднимая глаз от земли, одиночки зубрилы, с какой завидной уверенностью держатся группы тех, кто вместе кончал школу.

– Мы – тот самый злосчастный средний класс, вот в чем беда, – пожаловался он однажды неунывающему Керри, лежа на диване и методично закуривая одну сигарету от окурка другой.

– Ну и что же? Мы для того и уехали в Принстон, чтобы так же относиться к мелким университетам, кичиться перед ними: мол, и одеваемся лучше, и в себе уверены – в общем, задирать нос.

– Да я вовсе не против кастовой системы, – признался Эмори, – пускай будет правящая верхушка, кучка счастливчиков, только понимаешь, Керри, я сам хочу быть одним из них.

– А пока что, Эмори, ты всего-навсего недовольный буржуа.

Эмори отозвался не сразу.

– Ну, это ненадолго, – сказал он наконец. – Только очень уж я не люблю добиваться чего-нибудь тяжелым трудом. Это, понимаешь, оставляет на человеке клеймо.

– Почетные шрамы. – И вдруг Керри, изогнувшись, выглянул на улицу. – Вон, если интересуешься, идет Лангедюк, а следом за ним и Хамберд.

Эмори вскочил и бросился к окну.

– Да, – сказал он, разглядывая этих знаменитостей, – Хамберд – сила, это сразу видно, ну а Лангедюк – он, видно, играет в неотесанного. Я таким не доверяю. Любой алмаз кажется большим, пока не отшлифован.

– Тебе виднее, – сказал Керри, усаживаясь на место, – ведь ты у нас литературный гений.

– Я все думаю… – Эмори запнулся. – А может быть, правда? Иногда мне так кажется. Звучит это, конечно, безобразной похвальбой, я бы никому и не сказал, кроме тебя.

– А ты не стесняйся, валяй, отрасти волосы и печатай стихи в «Литературном», как Д'Инвильерс.

Эмори лениво протянул руку к стопке журналов на столе.

– Ты в последнем номере его читал?

– Никогда не пропускаю. Это, знаешь ли, пальчики оближешь.

Эмори раскрыл журнал и спросил удивленно:

– Он разве на первом курсе?

– Ага.

– Нет, ты только послушай. О господи! Говорит служанка:

Как черный бархат стелется над днем!
В серебряной тюрьме белея, свечи
Качают языки огня, как тени.
О Пия, о Помпия, прочь уйдем…

– Как это, черт возьми, понимать?

– Это сцена в буфетной.

Напряжена, как в миг полета птица,
Лежит на белых простынях она;
Как у святой, к груди прижаты руки…
Явись, явись, прекрасная Куницца!

– Черт, Керри, что это все значит? Я, честное слово, не понимаю, а я ведь тоже причастен к литературе.

– Да, закручено крепко, – сказал Керри. – Когда такое читаешь, надо думать о катафалках и о скисшем молоке. Но у него есть и почище.

Эмори швырнул журнал на стол.

– Просто не знаю, как быть, – вздохнул он. – Я, конечно, и сам с причудами, но в других этого терпеть не могу. Вот и терзаюсь – то ли мне развивать свой ум и стать великим драматургом, то ли плюнуть на словари и справочники и стать принстонским прилизой.

– А зачем решать? – сказал Керри. – Бери пример с меня, плыви по течению. Я-то приобрету известность, как брат Бэрна.

– Не могу я плыть по течению. Я хочу, чтобы мне было интересно. Хочу пользоваться влиянием, хотя бы ради других, стать или главным редактором «Принстонской», или президентом «Треугольника». Я хочу, чтобы мной восхищались, Керри.

– Слишком много ты думаешь о себе.

Это Эмори не понравилось.

– Неправда, я и о тебе думаю. Мы должны больше общаться, именно теперь, когда быть снобом занятно. Мне бы, например, хотелось привести на июньский бал девушку, но только если я смогу держать себя непринужденно, познакомить ее с нашими главными сердцеедами и с футбольным капитаном и все такое прочее.

– Эмори, – сказал Керри, теряя терпение, – ты ходишь по кругу. Если хочешь выдвинуться – займись чем-нибудь, а не можешь – так не ершись. – Он зевнул. – Выйдем-ка на воздух, а то всю комнату прокурили. Пошли смотреть футбольную тренировку.

Постепенно Эмори склонился к этой позиции, решил, что карьера его начнется с будущей осени, а пока можно, заодно с Керри, кое-чем поразвлечься и в стенах «Униви 12».

Они засунули в постель молодому еврею из Нью-Йорка кусок лимонного торта; несколько вечеров подряд, дунув на горелку у Эмори в комнате, выключали газ во всем доме, к несказанному удивлению миссис Двенадцать и домового слесаря; все имущество пьющих плебеев – картины, книги, мебель – они перетащили в ванную, чем сильно озадачили приятелей, когда те, прокутив ночь в Трентоне и еще не проспавшись, обнаружили такое перемещение; искренне огорчились, когда пьющие плебеи решили обратить все в шутку и не затевать ссоры; они с вечера до рассвета дулись в двадцать одно, банчок и «рыжую собаку», а одного соседа уговорили по случаю дня рождения закатить ужин с шампанским. Поскольку виновник торжества остался трезв, Керри и Эмори нечаянно столкнули его по лестнице со второго этажа, а потом, пристыженные и кающиеся, целую неделю ходили навещать его в больнице.

– Скажи ты мне, кто все эти женщины? – спросил однажды Керри, которому обширная корреспонденция Эмори не давала покоя. – Я тут смотрел на штемпели – Фармингтон и Добс, Уэстовер и Дана-Холл, – в чем дело?

Эмори ухмыльнулся.

– Это все более или менее в Миннеаполисе. – Он стал перечислять: – Вот это – Мэрилин де Витт, она хорошенькая, и у нее свой автомобиль, что весьма удобно; это – Салли Уэдерби, она растолстела, просто сил нет; это – Майра Сен-Клер, давнишняя пассия, позволяет себя целовать, если кому охота…

– Какой у тебя к ним подход? – спросил Керри. – Я и так пробовал, и этак, а эти вертихвостки меня даже не боятся.

– Ты – типичный «славный юноша», может, поэтому?

– Вот-вот. Каждая мамаша чувствует, что со мной ее дочка в безопасности. Даже обидно, честное слово. Если я пытаюсь взять девушку за руку, она смеется надо мной и *не отнимает руку*, как будто это посторонний предмет и к ней не имеет никакого отношения.

– А ты играй трагедию, – посоветовал Эмори. – Говори, что ты – неистовая натура, умоляй, чтобы она тебя исправила, взбешенный уходи домой, а через полчаса возвращайся – бей на нервы…

Керри покачал головой.

– Не выйдет. Я в прошлом году написал одной девушке серьезное любовное письмо. В одном месте сорвался и написал: «О черт, до чего я вас люблю!» Так она взяла маникюрные ножницы, вырезала «о черт», а остальное показывала всем одноклассницам. Нет, это безнадежно. Я для них просто «добрый славный Керри».

Эмори попробовал вообразить себя в роли «доброго славного Эмори». Ничего не получилось.

Настал февраль с мокрым снегом и дождем, ураганом пронеслась зимняя экзаменационная сессия, а жизнь в «Униви 12» текла все так же интересно, хоть и бессмысленно. Раз в день Эмори заходил поесть сэндвичей, корнфлекса и жюльена в картофеле «У Джо», обычно вместе с Керри или с Алексом Коннеджем. Последний был немногословный прилиза из школы Хочкисс, который жил в соседнем доме и, так же как Эмори, поневоле держался особняком, потому что весь его класс поступил в Йель. Ресторанчик «У Джо» не радовал глаз и не блистал чистотой, но там можно было подолгу кормиться в кредит, и Эмори ценил это преимущество. Его отец недавно провел какие-то рискованные операции с акциями горнопромышленной компании, и содержание, которое он определил сыну, было хотя и щедрое, но намного скромнее, чем тот ожидал.

«У Джо» было хорошо еще тем, что туда не заглядывали любознательные старшекурсники, так что Эмори, в обществе приятеля или книги, каждый день ходил туда, рискуя сгубить свое пищеварение. Однажды в марте, не найдя свободного столика, он уселся в углу зала напротив другого студента, прилежно склонившегося над книгой. Они обменялись кивками. Двадцать минут Эмори уплетал булочки с беконом и читал «Профессию миссис Уоррен» (на Бернарда Шоу он наткнулся случайно, когда во время сессии рылся в библиотеке); за это время его визави, тоже не переставая читать, уничтожил три порции взбитого молока с шоколадом.

Наконец Эмори стало любопытно, что тот читает. Он разобрал вверх ногами заглавие и фамилию автора «Марпесса», стихи Стивена Филлипса[6]. Это ничего ему не сказало, поскольку до сих пор его познания в поэзии сводились к хрестоматийной классике типа «Мод, сойди в тенистый сад» Теннисона и к навязанным ему на лекциях отрывкам из Шекспира и Мильтона.

Чтобы как-то вступить в разговор, он сперва притворно углубился в свою книгу, а потом воскликнул, как бы невольно:

– Да, вещь первый сорт!

Незнакомый студент поднял голову, и Эмори изобразил замешательство.

– Это вы про свою булочку? – Добрый, чуть надтреснутый голос как нельзя лучше гармонировал с большими очками и с выражением искреннего интереса ко всему на свете.

– Нет, – отвечал Эмори, – это я по поводу Бернарда Шоу. – Он указал на свою книгу.

– Я ничего его не читал, все собираюсь. – И продолжал после паузы: – А вы читали Стивена Филлипса? И вообще поэзию любите?

– Еще бы, – горячо отозвался Эмори. – Филлипса я, правда, читал немного. (Он никогда и не слышал ни о каком Филлипсе, если не считать покойного Дэвида Грэма[7].)

– По-моему, очень недурно. Хотя он, конечно, викторианец.

Они пустились в разговор о поэзии, попутно представились друг другу, и собеседником Эмори оказался «тот заумный Томас Парк Д'Инвильерс», что печатал страстные любовные стихи в «Литературном журнале». Лет девятнадцати, сутулый, голубоглазый, он, судя по общему его облику, не очень-то разбирался в таких захватывающих предметах, как соревнование за место в социальной системе, но литературу он любил, и Эмори подумал, что таких людей не встречал уже целую вечность. Если б только знать, что группа из Сент-Пола за соседним столом не принимает его самого за чудака, он был бы чрезвычайно рад этой встрече. Но те как будто не обращали внимания, и он дал себе волю – стал перебирать десятки произведений, которые читал, о которых читал, про которые и не слышал, – сыпал заглавиями без запинки, как приказчик в книжном магазине Брентано. Д'Инвильерс в какой-то мере поддался обману и

[6] *Филлипс* Стивен (1868–1915) – английский поэт.

[7] *Филлипс* Дэвид Грэм (1867–1911) – американский писатель, автор нескольких пьес в стихах. Был близок к литературному движению «разгребателей грязи», написал несколько нашумевших романов о положении женщины в американском обществе.

возрадовался безмерно. Он уже почти пришел к выводу, что Принстон состоит наполовину из безнадежных филистеров, а наполовину из безнадежных зубрил, и встретить человека, который говорил о Китсе без ханжеских ужимок и в то же время явно привык мыть руки, было для него праздником.

– А Оскара Уайльда вы читали? – спросил он.

– Нет. Это чье?

– Это человек, писатель, неужели не знаете?

– Ах да, конечно. – Что-то слабо шевельнулось у Эмори в памяти. – Это не о нем была оперетка «Терпение»?

– Да, о нем. Я только что прочел одну его вещь, «Портрет Дориана Грея», и вам очень советую. Думаю, что понравится. Если хотите, могу дать почитать.

– Ну конечно, спасибо, очень хочу.

– Может быть, зайдете ко мне? У меня и еще кое-какие книги есть.

Эмори заколебался, бросил взгляд на компанию из Сент-Пола – среди них был и великолепный, неподражаемый Хамберд – и прикинул, что ему даст приобретение этого нового друга. Он не умел, и так никогда и не научился, заводить друзей, а потом избавляться от них – для этого ему не хватало твердости, так что он мог только положить на одну чашу весов бесспорную привлекательность и ценность Томаса Парка Д'Инвильерса, а на другую – угрозу холодных глаз за роговыми очками, которые, как ему казалось, следили за ним через проход между столиками.

– Зайду с удовольствием.

Так он обрел «Дориана Грея», и «Деву скорбей Долорес», и «La belle dame sans merci»[8]. Целый месяц он только ими и жил. Весь мир стал увлекательно призрачным, он пытался смотреть на Принстон пресыщенным взглядом Оскара Уайльда и Суинберна, или «Фингала О'Флаэрти» и «Элджернона Чарльза», как он их называл с претенциозной шутливостью. До поздней ночи он пожирал книги – Шоу, Честертона, Барри, Пинеро, Йейтса, Синга, Эрнеста Доусона, Артура Саймонса, Китса, Зудермана, Роберта Хью Бенсона, «Савойские оперы» – все подряд, без разбора: почему-то ему вдруг показалось, что он годами ничего не читал.

Томас Д'Инвильерс стал сначала не столько другом, сколько поводом. Эмори виделся с ним примерно раз в неделю, они вместе позолотили потолок в комнате Тома, обили ее фабричными гобеленами, купленными на распродаже, украсили высокими подсвечниками и узорными занавесями. Эмори привлекали в Томе ум и склонность к литературе без тени изнеженности или аффектации. Из них двоих больше пыжился сам Эмори. Он старался, чтобы каждое его замечание звучало как эпиграмма, что не так уж трудно, если относиться к искусству эпиграммы не слишком взыскательно. В «Униви 12» все это было воспринято как новая забава.

Керри прочел «Дориана Грея» и изображал лорда Генри – ходил за Эмори по пятам, называл его «Дориан» и делал вид, что поощряет его порочные задатки и томный, скучающий цинизм. Когда Керри вздумал разыграть эту комедию в столовой, к великому изумлению окружающих, Эмори от смущения страшно обозлился и в дальнейшем блистал эпиграммами только при Томе Д'Инвильерсе или у себя перед зеркалом.

Однажды Том и Эмори попробовали читать стихи – свои и лорда Дансэни – под музыку, для чего был использован граммофон Керри.

– Давай нараспев! – кричал Том. – Ты не урок отвечаешь. Нараспев!

Эмори, выступавший первым, надулся и заявил, что не годится пластинка – слишком много рояля. Керри в ответ стал кататься по полу, давясь от смеха.

– А ты заведи «Цветок и сердце», – предложил он. – Ой, не могу, держите меня!

---

[8] «Безжалостная краса» (*фр.*) – стихотворение Китса.

– Выключите вы этот чертов граммофон! – воскликнул Эмори, весь красный от досады. – Я вам не клоун в цирке.

Тем временем он не оставлял попыток деликатно открыть Д'Инвильерсу глаза на пресловутую социальную систему, – он был уверен, что, по существу, в этом поэте меньше от бунтаря, чем в нем самом, и стоит ему прилизать волосы, ограничить себя в разговорах и завести шляпу потемнее оттенком, как любой ревнитель условностей признает его своим. Однако нотации на тему о фасоне воротничков и строгих галстуках Том пропускал мимо ушей, даже отмахивался от них, и Эмори отступился – только наведывался к нему раз в неделю да изредка приводил его в «Униви 12». Насмешники соседи прозвали их Доктор Джонсон и Босуэлл[9].

Алек Коннедж, чаще заходивший в гости, в общем относился к Д'Инвильерсу хорошо, но побаивался его как «заумного». Керри, разглядевший за его болтовней о поэзии крепкую, почти респектабельную сердцевину, от души наслаждался и, заставляя его часами читать стихи, лежал с закрытыми глазами у Эмори на диване и слушал:

Она проснулась или спит? На шее
След пурпурный лобзанья все виднее;
Кровь из него сочится – и она
От этого прекрасней и нежнее…

– Это здорово, – приговаривал он вполголоса. – Это старший Холидэй одобряет. По всему видно, великий поэт.

И Том, радуясь, что нашлась публика, без устали декламировал «Поэмы и баллады», так что Керри и Эмори скоро уже знали их почти так же хорошо, как он сам.

Весной Эмори принялся сочинять стихи в садах больших поместий, окружающих Принстон, где лебеди на глади прудов создавали подходящую атмосферу и облака неспешно и стройно проплывали над ивами. Май наступил неожиданно быстро, и, вдруг почувствовав, что стены не дают ему дышать, он стал бродить по университетскому городку в любое время дня и ночи, под звездами и под дождем.

Влажная символическая интерлюдия

Пала ночная мгла. Она волнами скатилась с луны, покружилась вокруг шпилей и башен, потом осела ближе к земле, так что сонные пики по-прежнему гордо вонзались в небо. Фигуры людей, днем сновавшие, как муравьи, теперь мелькали на переднем плане подобно призракам. Таинственнее выглядели готические здания, когда выступали из мрака, прорезанные сотнями бледно-желтых огней. Вдали, непонятно где, пробило четверть, и Эмори, дойдя до солнечных часов, растянулся на влажной траве. Прохлада освежила его глаза и замедлила полет времени – времени, что украдкой пробралось сквозь ленивые апрельские дни, неуловимо мелькнуло в долгих весенних сумерках. Из вечера в вечер над университетским городком красиво и печально разносилось пение старшекурсников, и постепенно, пробившись сквозь грубую оболочку первого курса, в душу Эмори снизошло благоговение перед серыми стенами и шпилями, символическими хранителями духовных ценностей минувших времен.

Башня, видная из его окна, шпиль которой тянулся все выше и выше, так что верхушка его была едва различима на фоне утреннего неба, – вот что впервые навело его на мысль о том, как недолговечны и ничтожны люди, если не видеть в них преемников и носителей прошлого. Ему приятно было узнать, что готическая архитектура, вся устремленная ввысь, особенно под-

[9] *Джонсон* Сэмюел (1709–1784) – знаменитый английский лексикограф и писатель. Его друг и почитатель Джеймс *Босуэлл* (1740–1795) составил жизнеописание доктора Джонсона, считающееся классическим образцом жанра литературной биографии.

ходит для университетов, и он ощутил это как собственное открытие. Ровные лужайки, высокие темные окна – лишь редко где горит свет в кабинете ученого – крепко завладели его воображением, и символом этой картины стала чистая линия шпиля.

– К черту, – произнес он громким шепотом, смочив ладони о влажную траву и приглаживая волосы. – С будущего года берусь за дело.

И однако он знал, что дух шпилей и башен, сейчас вселивший в него мечтательную готовность к действию, отпугнет его, когда придет время. Пусть сейчас он сознает только свою незначительность – первое же усилие даст ему почувствовать, как он слаб и безволен.

Принстон спал и грезил – грезил наяву. Эмори ощутил какую-то нервную дрожь – может быть, отклик на неспешное биение университетского сердца. Река, в которую ему предстоит бросить камень, и еле видные круги от него почти тотчас исчезнут. До сих пор он не дал ничего. И не взял ничего.

Запоздалый первокурсник, шурша клеенчатым плащом, прошлепал по отсыревшей дорожке. Где-то под невидимым окном прозвучало неизбежное «Подойди на минутку». И до сознания его наконец дошли сотни мельчайших звуков, заполнивших пелену тумана.

– О господи! – воскликнул он вдруг и вздрогнул от звука собственного голоса.

Моросил дождь. Еще минуту Эмори лежал неподвижно, сжав кулаки. Потом вскочил, ощупал себя и сказал вслух, обращаясь к солнечным часам:

– Промок до нитки!

Немножко истории

Летом того года, когда Эмори перешел на второй курс, в Европе началась война. Бросок немецких войск на Париж вызвал у него чисто спортивный интерес, в остальном же он остался спокоен. Подобно зрителю, забавляющемуся мелодрамой, он надеялся, что спектакль будет длинный и крови прольется достаточно. Если бы война тут же кончилась, он разозлился бы, как человек, купивший билет на состязание в боксе и узнавший, что противники отказались драться.

А больше он ничего не понял и не почувствовал.

«Ого-Гортензия!»

– Эй, фигурантки!

– Начинаем!

– Эй, фигурантки, может, хватит дуться в кости, время-то не ждет.

– Ну же, фигурантки?

Режиссер бестолково бушевал, президент клуба «Треугольник», сам не свой от волнения, то разражался властными выкриками, то в полном изнеможении валился на стул, уверяя себя, что никаким чудом им не успеть подготовить спектакль к началу каникул.

– Ну, так. Репетируем песню пиратов.

Фигурантки, затянувшись напоследок сигаретами, заняли свои места; премьерша выбежала на передний план, грациозно жестикулируя руками и ногами, и под хлопки режиссера, громко отбивавшего такт, танец, плохо ли, хорошо ли, был исполнен.

Клуб «Треугольник» являл собой подобие огромного растревоженного муравейника. Каждый год он ставил музыкальную комедию, и в течение всех зимних каникул труппа, хор, оркестр и декорации разъезжали из города в город. Текст и музыку писали сами студенты. Клуб пользовался громкой славой: больше трехсот желающих ежегодно домогались чести стать его членами.

Эмори, с легкостью пройдя в первом же туре второго курса в редакционный совет «Принстонской газеты», вдобавок был введен в труппу на роль пирата по кличке Кипящий Вар. Последнюю неделю они репетировали «Ого-Гортензию!» ежедневно, с двух часов дня до восьми утра, поддерживая себя крепким кофе, а в промежутке отсыпаясь на лекциях. Поразительную картину являл собой зал, где шли репетиции. Большое помещение, похожее на сарай, и в нем – студенты-пираты, студенты-девушки, студенты-младенцы; с грохотом воздвигаются декорации; осветитель, проверяя прожектор, направляет слепящие лучи прямо в чьи-то негодующие глаза; и все время либо настраивается оркестр, либо звучит лихая клубная песня. Студент, который сочиняет вставные стихи, стоит в углу и грызет карандаш: через двадцать минут должны быть готовы еще два куплета – для биса. Казначей и секретарь спорят о том, сколько денег можно истратить на «эти чертовы костюмы для фермерских дочек»; ветеран, бывший президентом клуба в 98-м году, уселся на высокий ящик и вспоминает, насколько проще все это было в его время.

Как «Треугольнику» вообще удавалось подготовить спектакль – это покрыто тайной, но сама подготовка велась азартно, независимо от того, кто из участников заслужит право носить брелок в виде крошечного золотого треугольника. «Ого-Гортензию!» переписывали шесть раз, и на программах значились фамилии всех девяти авторов. Каждая постановка «Треугольника» в первом варианте преподносилась как «что-то новое, не просто еще одна музыкальная комедия», но, пройдя через руки нескольких авторов, режиссера, президента и факультетской комиссии, сводилась все к тем же старым, проверенным канонам, с теми же старыми, проверенными шутками, и так же буквально накануне отъезда оказывалось, что главный комик не то исключен, не то заболел, и так же ругали брюнета из состава фигуранток за то, что «он, черт его дери, не желает бриться два раза в день».

В «Ого-Гортензии!» был один блестящий эпизод. В Принстоне существует поверье, что, когда питомец Йеля, член прославленного клуба «Череп и кости», слышит упоминание этого священного братства, он обязан покинуть помещение. Существует и другое поверье: что эти люди неизменно достигают больших успехов в жизни – собирают уйму денег, или голосов, или купонов – словом, того, что надумают собирать. И вот на каждом представлении «Ого-Гортензии!» шесть билетов не пускали в продажу, а на непроданные места сажали самых страшных оборванцев, каких удавалось нанять на улице, да еще приукрашенных стараниями клубного гримера. Когда по ходу действия «Арбалет, глава пиратов» говорит, указуя на свой черный флаг: «Я окончил Йель – вот они. Череп и кости!» – шести оборванцам было предписано демонстративно встать и выйти из зала, всем своим видом выражая глубокую печаль и оскорбленное достоинство. Утверждали, впрочем без достаточных оснований, что был случай, когда к шести подставным питомцам Йеля присоединился один настоящий.

За время каникул они выступали перед избранной публикой в восьми городах. Эмори больше всего понравились Луисвилл и Мемфис: здесь умели встретить гостей, варили сногсшибательный пунш и предлагали взорам поразительное количество красивых женщин. Чикаго он одобрил за особый задор, выражавшийся не только в громком вульгарном говоре, но поскольку Чикаго тяготел к Йелю и через неделю туда должен был прибыть йельский клуб «Веселье», принстонцам досталась только половина оваций. В Балтиморе они чувствовали себя как дома и все поголовно влюбились. Крепкие напитки потреблялись там в изобилии; кто-нибудь из актеров неизменно выходил на сцену в подпитии и потом уверял, что этого требовала его трактовка роли. В их распоряжении было три железнодорожных вагона, но спали только в третьем, так называемом телячьем, куда запихнули оркестрантов. Все происходило в такой спешке, что скучать было некогда, но когда они, уже к самому концу каникул, прибыли в Филадельфию, приятно было отдохнуть от спертой атмосферы цветов и грима, и фигурантки со вздохом облегчения сняли корсеты с натруженных животов.

Когда гастроли кончились, Эмори на всех парах помчался в Миннеаполис, потому что Изабелла Борже, кузина Салли Уэдерби, должна была провести там зиму, пока ее родители будут за границей. Изабеллу он помнил маленькой девочкой, с которой когда-то играл. Потом она уехала в Балтимор – но с тех пор успела обзавестись прошлым.

Эмори чувствовал необычайный подъем, он строил планы, нервничал, ликовал. Лететь на свидание с девушкой, которую он знал в детстве, – это казалось ему в высшей степени интересным и романтичным, так что он без зазрения совести телеграфировал матери, чтобы не ждала его… сидел в поезде и тридцать шесть часов без перерыва думал о себе.

Новое в жизни Америки

Во время гастрольной поездки Эмори постоянно сталкивался с важным новым явлением американской жизни, именуемым «вечеринки с поцелуями».

Ни одна викторианская мать – а викторианскими были почти все матери – и вообразить не могла, как легко и привычно ее дочь позволяет себя целовать. «Так ведут себя только горничные, – говорит своей веселой дочке миссис Хастон-Кармелайт. – Их сначала целуют, а потом делают им предложение». А веселая дочка, Общая Любимица, в возрасте от шестнадцати до двадцати двух лет каждые полгода объявляет о своей новой помолвке и наконец выходит замуж за молодого Хамбла из фирмы «Камбл и Хамбл», который пребывает в уверенности, что он ее первая любовь, да еще в промежутках между помолвками Общая Любимица (выбранная по тому признаку, что ее чаще всех перехватывают на танцах, в соответствии с теорией естественного отбора) еще нескольких вздыхателей дарит прощальными поцелуями при лунном свете, у горящего камина или в полной темноте.

На глазах у Эмори девушки проделывали такое, что еще на его памяти считалось немыслимым: ужинали в три часа ночи в несусветных кафе, рассуждали о всех решительно сторонах жизни – полусерьезно-полунасмешливо, однако не умея скрыть возбуждения, в котором Эмори усматривал серьезный упадок нравственности. Но как широко это явление распространилось – это он понял лишь тогда, когда все города от Нью-Йорка до Чикаго предстали перед ним как сплошная арена негласной распущенности молодежи.

Отель «Плаза», за окном зимние сумерки, смутно доносится стук барабанов в оркестре… В полном параде они беспокойно слоняются по вестибюлю, заказывают еще по коктейлю и ждут. И вот через вращающуюся дверь с улицы проскальзывают три фигурки в мехах. Потом – театр, потом – столик в «Ночных забавах» – разумеется, присутствует и чья-то мама, но это только значит, что требуется особая осторожность, и вот чья-то мама уже сидит одна у покинутого столика и думает, что не так страшны эти развлечения, как их малюют, только уж очень утомительны. А Веселая Дочка опять влюблена… И вот что странно: ведь в такси было сколько угодно места, а дочку и этого студентика почему-то не взяли, и пришлось им ехать отдельно, в другом автомобиле. Странно? А вы не заметили, как у Веселой Дочки горели щеки, когда она наконец явилась с опозданием на семь минут? Но этим девицам все сходит с рук.

На смену «царице бала» пришла «фея флирта», на смену «фее флирта» – «вамп». «Царица бала» что ни день принимала по пять-шесть визитеров. Если у Веселой Дочки их случайно встретилось двое, тот из них, с кем она заранее не сговорилась, окажется в очень неудобном положении. В перерывах между танцами «царицу бала» окружал десяток кавалеров. А Веселая Дочка? Где она обретается в перерывах между танцами? Попробуй-ка найди ее!

Та же самая девушка… с головой погрузившаяся в атмосферу дикарской музыки и поколебленных моральных устоев. У Эмори даже сердце замирало при мысли, что любую красивую девушку, с которой он познакомился до восьми часов вечера, он еще до полуночи почти наверняка сможет поцеловать.

– Зачем мы, собственно, здесь? – спросил он однажды девушку с зелеными гребнями, сидя с ней в чьем-то лимузине у загородного клуба в Луисвилле.

– Не знаю. Просто у меня такое настроение.

– Будем честны – ведь мы же никогда больше не встретимся. Мне хотелось прийти сюда с вами, потому что, по-моему, вы здесь самая красивая. Но вам-то совершенно все равно, что больше вы никогда меня не увидите, правда?

– Правда… но скажите, у вас ко всем девушкам такой подход? Чем я это заслужила?

– И вовсе вы не устали танцевать, и вовсе вас не тянуло покурить, это все говорилось для отвода глаз. Вам просто захотелось…

– Раз вам угодно заниматься анализом, – перебила она, – пошли лучше в дом. Не хочу я об этом говорить.

Когда в моду вошел безрукавный, плотной вязки пуловер, Эмори в минуту вдохновения окрестил его «целовальной рубашкой», и название это Веселые Дочки и их кавалеры разнесли по всей стране.

Описательная

Эмори шел девятнадцатый год, он был чуть ниже шести футов ростом и на редкость, хоть и не стандартно, красив. Лицо у него было очень юное, но наивности его противоречили проницательные зеленые глаза, опушенные длинными темными ресницами. Ему не хватало той чувственной притягательности, что так часто сопутствует красоте и в женщинах, и в мужчинах; обаяние его было скорее духовного свойства, и он не умел то включать его, то выключать, как электричество. Но тем, кто видел его лицо, оно запоминалось надолго.

Изабелла

На верхней площадке она остановилась. В груди ее теснились ощущения, которые полагается испытывать пловцам перед прыжком с высокого трамплина, премьершам перед выходом в новой постановке, рослым, нескладным юнцам в день ответственного матча. По лестнице ей подошло бы спускаться под барабанный бой или под попурри из «Тайс» или «Кармен». Никогда еще она так не заботилась о своей наружности и не была ею так довольна. Ровно полгода назад ей исполнилось шестнадцать лет.

– Изабелла! – окликнула ее Салли из открытой двери гардеробной.

– Я готова. – От волнения ей слегка сдавило горло.

– Я послала домой за другими туфлями. Подожди минутку.

Изабелла двинулась было в гардеробную, чтобы еще раз взглянуть на себя в зеркало, но почему-то передумала и осталась стоять, глядя вниз с широкой лестницы клуба Миннегага. Лестница делала предательский поворот, и ей были видны только две пары мужских ног в нижнем холле. В одинаковых черных лакированных туфлях, они ничем не выдавали своих владельцев, но ей ужасно хотелось, чтобы одна из них принадлежала Эмори Блейну. Этот молодой человек, которого она еще не видела, тем не менее занял собой значительную часть ее дня – дня ее приезда в Миннеаполис. По дороге с вокзала Салли, забросав ее вопросами, рассказами, признаниями и домыслами, между прочим сообщила:

– Ты, конечно, помнишь Эмори Блейна. Так вот, он просто жаждет опять с тобой встретиться. Он решил на день опоздать в колледж и нынче вечером будет в клубе. Он много о тебе слышал – говорит, что помнит твои глаза.

Это Изабелле понравилось. Значит, и он ею интересуется. Впрочем, она привыкла налаживать романтические отношения и без предварительной рекламы. Но одновременно с приятным предчувствием у нее екнуло сердце, и она спросила:

– Ты говоришь, он обо мне слышал? Что именно?

Салли улыбнулась. При своей интересной кузине она чувствовала себя чем-то вроде импресарио.

– Он знает, что тебя считают очень хорошенькой… – она сделала паузу – и, наверно, знает, что ты любишь целоваться.

При этих словах Изабелла невольно стиснула кулачки под меховой накидкой. Она уже привыкла к тому, что ее грешное прошлое следует за нею повсюду, и это ее раздражало – но, с другой стороны, в новом городе такая репутация могла и пригодиться. Про нее говорят, что она «распущенная»? Ну что ж, пусть проверят.

В окно машины она глядела на морозное снежное утро. Она и забыла, насколько здесь холоднее, чем в Балтиморе. Стекло дверцы обледенело, в окошках по углам налип снег. А мысли ее возвращались все к тому же. Интересно, он тоже одевается, как вон тот парень, что преспокойно шагает по людной улице в мокасинах и каком-то карнавальном костюме? Как это типично для Запада! Нет, он, наверно, не такой, ведь он учится в Принстоне, уже на втором курсе, кажется. Помнила она его очень смутно. Сохранился старый любительский снимок, и на нем главным образом большие глаза (теперь-то он, наверно, и весь не маленький). Но за последний месяц, после того как было решено, что она поедет гостить к Салли, он вырос до размеров достойного противника. Дети, эти хитроумные сводники, строят свои планы быстро, к тому же и Салли по мере сил подогревала ее легко воспламеняющуюся натуру. Изабелла уже не раз оказывалась способна на очень сильные, хоть и очень преходящие чувства…

Они подкатили к внушительному белокаменному особняку, стоявшему отступя от заснеженной улицы. Миссис Уэдерби встретила ее ласково и радушно, из разных углов появились младшие кузены и кузины и вежливо с ней поздоровались. Изабелла держалась с большим тактом. Она, когда хотела, умела расположить к себе всех, с кем встречалась, – кроме девушек старше себя и некоторых женщин. И впечатление, производимое ею, всегда было точно рассчитано. Несколько девиц, с которыми она в тот день возобновила знакомство, по достоинству оценили и ее, и ее репутацию. Но Эмори Блейн остается загадкой. Видимо, он отчаянный ухажер и пользуется успехом, хотя не так чтобы очень, очевидно, все эти девушки рано или поздно с ним флиртовали, но сколько-нибудь полезных сведений не сообщила ни одна. Он непременно в нее влюбится. Салли заранее оповестила об этом своих подружек, и, едва увидев Изабеллу, они сами стали уверять ее в этом. А Изабелла про себя решила, что, если потребуется, она заставит себя им увлечься – не подводить же Салли. Может быть, сама-то она в нем и разочаруется. Салли расписала его в самых привлекательных красках: красив, как бог, и «так благородно держится, когда захочет», и подход у него есть, и непостоянства хватает. Словом – весь букет тех качеств, которые в ее возрасте и в ее среде ценились на вес золота. Интересно все-таки, это его или не его бальные туфли выделывают па фокстрота на мягком ковре вестибюля?

Впечатления и мысли у Изабеллы всегда сменялись с калейдоскопической быстротой. У нее был тот светски-артистический темперамент, который часто встречается и среди светских женщин, и среди актрис. Свое образование или, вернее, опыт она почерпнула у молодых людей, домогавшихся ее благосклонности, такт был врожденный, а круг поклонников ограничен только числом телефонов у подходящих молодых людей, обитавших по соседству. Кокетство лучилось из ее больших темно-карих глаз, смягчало улыбкой ее откровенную чувственную прелесть.

И вот она стояла на верхней площадке клуба и ждала, пока прибудут забытые дома туфли. Она уже начала терять терпение, но тут из гардеробной появилась Салли, как всегда веселая, сияющая, и пока они вместе спускались по лестнице, словно лучи прожектора освещали в уме Изабеллы поочередно две мысли: «Слава богу, я сегодня не бледная» и «Интересно, а танцует он хорошо?».

Внизу, в большом зале клуба, ее сперва окружили те девицы, с которыми она повидалась днем, потом она услышала голос Салли, перечислявшей фамилии, и машинально поздоровалась с шестью черно-белыми, негнущимися, смутно знакомыми манекенами. Мелькнула там и фамилия Блейн, но она не сразу разобралась, к кому ее приклеить. Все стали неумело пятиться и сталкиваться и в результате этой путаницы оказались обременены самыми нежелательными партнерами. С Фрогги Паркером, с которым Изабелла когда-то играла в «классы» – теперь он только что поступил в Гарвард, – она ловко ускользнула на диванчик у лестницы. Ей хватило одного шутливого упоминания о прошлом. Просто диву даешься, как она умела обыграть такое невинное замечание. Сперва она повторила его прочувствованным контральто с чуть заметной южной интонацией, потом с чарующей улыбкой, словно оценила со стороны, потом снова произнесла с небольшими вариациями, наделив нарочитой значительностью, – причем все это было облечено в форму диалога. Фрогги, замирая от счастья, не подозревал, что комедия эта разыгрывается вовсе не для него, а для тех зеленых глаз, что поблескивали из-под тщательно приглаженных волос чуть левее от них: Изабелла наконец-то обнаружила Эмори. Подобно актрисе, когда она чувствует, что уже покорила зрительный зал, и теперь уделяет главное внимание зрителям первого ряда, Изабелла исподтишка изучала Эмори. Оказалось, что волосы у него каштановые, и по тому, что это ее разочаровало, она поняла, что ожидала увидеть жгучего брюнета, притом стройного, как на рекламе новых подтяжек. А еще она отметила легкий румянец и греческий профиль, особенно эффектный в сочетании с узким фраком и пышной шелковой манишкой из тех, что все еще пленяют женщин, хотя мужчинам уже изрядно надоели.

Эмори выдержал ее осмотр не дрогнув.

– Вы со мной не согласны? – вдруг как бы невзначай обратилась к нему Изабелла.

Обходя кучки гостей, к ним приближалась Салли и с ней еще кто-то. Эмори подошел к Изабелле вплотную и шепнул:

– За ужином сядем вместе. Мы же созданы друг для друга.

У Изабеллы захватило дух. Это уже было похоже на «подход». Но одновременно она чувствовала, что одну из лучших реплик отняли у звезды и передали чуть ли не статисту… Нет, этого она не допустит. Под взрывы смеха молодежь рассаживалась за длинным столом и много любопытных глаз следило за Изабеллой. Польщенная этим, она оживилась и разрумянилась, так что Фрогги Паркер, заглядевшись на нее, забыл пододвинуть Салли стул и отчаянно от этого смутился. По другую руку от нее сидел Эмори – уверенный, самодовольный – и, не скрываясь, любовался ею. Он заговорил сразу, так же как и Фрогги:

– Я много о вас слышал с тех пор, как вы перестали носить косички…

– Смешно сегодня получилось…

Оба одновременно умолкли. Изабелла робко повернулась к Эмори. Обычно ее понимали без слов, но сейчас она не стала молчать:

– От кого слышали? Что?

– От всех – с тех самых пор, как вы отсюда уехали.

Она вспыхнула и потупилась. Справа от нее Фрогги Паркер уже «сошел с дорожки», хотя еще не успел это понять.

– Я вам расскажу, какой помнил вас все эти годы, – продолжал Эмори.

Она чуть наклонилась в его сторону, скромно разглядывая веточку сельдерея у себя на тарелке. Фрогги вздохнул – он хорошо знал Эмори и как тот блестяще использует такие ситуации. Он решительно повернулся к Салли и осведомился, думает ли она с осени уехать в колледж. Эмори же сразу повел огонь картечью.

– У меня для вас есть один очень подходящий эпитет. – Это был его излюбленный гамбит. Никакого определенного слова он при этом в виду не имел, но в собеседнице пробуждалось любопытство, а на худой конец всегда можно было придумать что-нибудь лестное.

– Правда? Какой же?

Эмори покачал головой.

– Я вас еще недостаточно знаю.

– А потом скажете? – спросила она еле слышно.

Он кивнул.

– Мы пропустим танец и поболтаем.

Изабелла кивнула.

– Вам кто-нибудь говорил, что у вас пронзительные глаза?

Эмори постарался сделать их еще пронзительнее. Ему показалось – или только почудилось? – что она под столом коснулась ногой его ноги. Впрочем, это могла быть просто ножка стола. Трудно сказать. А если все-таки?.. Он стал быстро соображать, как бы им уединиться в маленькой гостиной на втором этаже.

Младенцы в лесу

Невинными младенцами ни Эмори, ни Изабелла, безусловно, не были, но не были они и порочны. К тому же эти ярлыки не играли большой роли в той игре, которую они затеяли и которая в ее жизни должна была занять главное место на ближайшие несколько лет. Как и у Эмори, все началось у нее с красивой внешности и беспокойного нрава, а дальнейшее пришло от прочитанных романов и разговоров, подслушанных среди девушек постарше ее годами. Изабелла уже в десять лет усвоила кукольную походку и наивный взгляд широко раскрытых блестящих глаз. Эмори смотрел на вещи чуть более трезво. Он ждал, когда она сбросит маску, но ее права носить маску не оспаривал. Она, со своей стороны, не обольщалась его личиной многоопытного скептика. Проведя юность в более крупном городе, она повидала больше разных людей. Но позу его приняла – это входило в число мелких условностей, необходимых в такого рода отношениях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.